

PC
Д30
586104

ВАЛЕРИЙ
ДЕМЕНТЬЕВ

СЕВЕР-
НЫЕ
ФРЕСКИ



ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1967



Валерий Дементьев



**СЕВЕРНЫЕ
ФРЕСКИ**

Д 30



Художники:
Г. и Н. Бурмагины

ПАМ'ЯТЬ СЕРДЦА



ЗЕМЛЯ ЗАВОЛОЦКАЯ

В СТАРИНУ Вологодчину звали землей Заволоцкой — так в летописях именовался край лесной, непроходимый, край за волоками. Даже новгородские ушкуйники, народ лихой и отпетый, иногда страшились опасностей далекого пути, остерегались забираться за волока в верховья безымянных речек. Одну из таких речек, по преданию, они прозвали Волокдой: мол, будет за Белоозером волок да волок да еще волок и будет река Волокда.

А за Волокдой еще и еще волока, а уж за теми волоками — сам великий Пермский Камень-Урал. Там, по слухам, золото лежит россыпью в борах, изумруды можно собирать горстями, как клюкву на кочках, а рухлядью — пушшиной ценной, редкостной — битком набиты охотничьи займки.

И рубили новгородцы просеки, впрягались в веревочные лямки, переволакивали по каткам остроносые суденышки, плыли дальше, вглядываясь в каждый речной поворот, нетерпеливо ожидая, когда же вознесется до небес лесистая громада Пермского камня. Иные так и не добились до каменной гряды, оваянной легендами, оседали по берегам северных рек, брали в жены девушек-зырянок, обживали новые места.

Но жила в их потомках тяга к землям необетованным, неведомым. Не случайно на карте современной Сибири можно встретить имена северян-землепроходцев, первым

в их ряду значится устюжанин Ерофей Павлович Хабаров. Не случайно в прошлом веке, когда нужда да беда гнали крестьян по всей Руси, заметил великий поэт среди прочего мастерового люда на Волге «копателей канав — вологжан». Не случайно бытовали в северных деревнях песни про чужбину-разлучницу, чужбину-печаль, которая уводила молодых парней и мужиков в чужедальную сторонушку.

Мой дед по отцу, Александр Александрович, смолоду вдосталь познал этой самой печали, исколесив землеком едва ли не пол-России. Но как бы далеко ни забрасывала его судьба, неизменно он возвращался на родину. Не было для него краше Кубенского озера, не было краше деревни Каргачево, где и мне довелось родиться в свой срок.

С тех пор, как закончилась Отечественная война, я не раз торил пути-дороги моих предков-северян: довелось мне побывать на севере и на юге, поплавать по Амуру, летать в Хабаровск. Но все-таки я считаю лето потерянным, если не отдал поклон земле Заволоцкой. А ведь сейчас, казалось бы, все края свои, родные, и в деревнях разве одни старухи вспомнят зацепки про горе-горькую чужбину. Да, по правде говоря, мало нынче поют частушек в северных деревнях, — все больше по окраинам больших городов, все больше в районах новостроек...

Зато в юности я их наслушался вдоволь. На летние каникулы я почти всегда приезжал в родную деревню, и, хотя среди фольклористов и этнографов русский север по праву славится былинами, протяжными плачами, свадебными обрядами, — я не слышал их от своих земляков: время было другое, и только частушки да новые песни звенели далеко за деревенской околицей. Да еще живы были в народе преданья о местах хоженных-перехоженных, виданных-перевиданных.

Особенно памятно мне предание о Спас-Камене. Бытует оно по берегам Кубенского озера, которое голубым ятаганом вытянулось километров на семьдесят. Откуда бы вы ни плыли по озеру — вы долго будете видеть крохотный островок с полуразрушенной колокольней.

По рассказам стариков в глубокой древности потерял здесь один новгородский князь дружину. Прижатый врагами к воде, он бросился вплавать, но разыгралась на озере буря, и князь стал тонуть в холодных волнах. Тогда он взмолился о спасении — и тут произошло чудо. Внезапно под ногами князь ощутил каменистое дно, которое все подымалось и подымалось, пока не стало островком в безбрежной водной пустыне. «Камень спас!» — воскликнул пораженный новгородец.

Так и зовут теперь этот остров Спас-Камень. Столетия оправдывает он свое название, спасая рыбаков, застигнутых на озере сиверком. Поколения кубеноозеров слышат это предание, передаваемое из уст в уста. Подобные поэтические легенды и сказки имели над моей душой неизъяснимую власть. Мне хотелось верить в чудесное спасение храброго князя, верить, что сказка эта была былью, что если и меня застигнет на озере вспененная волна, то может произойти такое же чудо.

Только позднее я понял, что чудо не в спасении князя, что чудо — это сама народная фантазия, одухотворяющая природу, возвышающая ее. Чудо — в поэтическом перевоплощении мира.

Позднее я понял и другое: многовековые пласты нашей национальной культуры — вот коренная порода, на которой основывается духовная жизнь каждого из нас, вот Спас-Камень, который дает тебе опору в минуты невзгоды, делает тебя сильнее, прозорливее, чище, позволяет заглянуть в туманную даль времен. Этот мир искусства, поэзии, красоты — моя родина.

Вот почему я с особым пристрастием читаю книги поэтов, родившихся на севере, стремлюсь постигнуть красоту северных сказаний и песен, таинства деревянного зодчества, иконографии, шемогодской резьбы по бересте, великоустюгской черни по серебру, — всех тех народных ремесел и искусств, которые, к счастью, стали возрождаться в последние годы.

Вот почему малейший толчок, — стенная ли роспись, картина ли, отдельное ли стихотворение, а, может, просто письмо из деревни, — заставляют учащенное биться мое сердце.

КУПОЛА И ЛАСТОЧКИ

ЗАМЕЧАЛИ ли вы за собой такую особенность: на художественных выставках далеко не сразу и далеко не все полотна «открываются» вам. Видишь как будто бы все: и приглушенный или, наоборот, интенсивный цвет, и композиционное решение, и выразительные детали, и самобытность художника, а вот — поди ж ты! — все эти составные элементы искусства существуют сами по себе, а картина — сама по себе. Полотно молчит, хотя каким-то седьмым чувством знаешь, что ты не добрался до его сокровенной сути, что в нем «что-то есть».

Нечто подобное происходило со мной, когда я видел многочисленные картины, эскизы и этюды Константина Федоровича Юона, понимая разумом, что это крупный художник, влюбленный в Россию, что надо бы мне замедлить шаг, остановиться хотя бы возле знаменитого Троице-Сергиевского цикла. Я останавливался, вглядывался и — проходил дальше. Но вот однажды в руки мне попала репродукция картины К. Ф. Юона «Купола и ласточки», написанной еще в 1921 году.

Чем-то близким, до боли знакомым повеяло на меня от этой картины. Но чем? Ах, да вспомнил!

На Красной горке в Вологде, возле Софийского собора, строительство которого было начато еще при Иване Грозном, позднее, в XIX веке, какой-то архиепископ воздвиг громадную колокольню. Насколько классически ясны, строги линии собора Софии Премудрой, насколько прост и величествен весь его белокаменный облик, насколько эклектична по стилю эта колокольня: когда смотришь на нее вблизи, создается впечатление, что это немецкая кирха, стреловидные окна и закомары которой неизвестно по какой причине увенчаны огромной луковичей-куполом с православным крестом. Но с этой колокольни, куда по воскресеньям пускают всех желающих, открывается такой вид на Вологду, на ее окрестности, что дух захватывает. Прямо перед основанием колокольни громоздится здание государственного банка, дальше идут городские кварталы, поблескивает река Вологда, видны новостройки, трубы заводов, а по самому горизонту — ширь полей и лесов. У решетки, ограждающей площадку для обзора, с пронзительным криком выются ласточки, тянет прохладой, а ты жадно вбираешь эту даль и не можешь оторвать взора от земных, вольготных просторов, которые видны тебе на все четыре стороны света. И хотя ты знаешь: вот там краснеют башни старинного Прилуцкого монастыря, вот там виднеется элеватор, а за элеватором пойдут Лиминдские кирпичные заводы, заливные луга, торфяники, болота, все равно дали зовут тебя каким-то извечным зовом, обещают что-то неожиданное и чудесное.

Пережив все это за несколько неуловимых мгновений, я вновь стал разглядывать картину Юона. Вот тут-то она и «открылась» мне. Высокое искусство художника покорило меня, заговорило со мной ясным, понятным языком.

Массивные барабаны и купола собора были нежно розовы от заходящих лучей солнца. Ажурная ковка позолоченных крестов как будто плыла в прозрачном летнем небе, кое-где тронутым зарумянившимися облачками, но не могла оторваться от своей основы. А в выцветшем, спокойном просторе скорее угадывались, чем виделись наяву, черные точки ласточек, которые стремительной метелью кружились над куполами.

Между их свободным, молниевидным полетом и каменной, позлащенной материальностью собора был разительный контраст: он-то и заставлял особенно пристально вглядываться в картину, искать в ней сокровенный смысл.

Постепенно палитра художника начинала творить чудеса: небо чуть позеленело от тихих садов и полей, а дымка по горизонту восприняла синеву вечеряющего неба, — и все вместе захватывало чувством приволья, радостного умиротворения, покоя, чувством, которое хотел передать мне, зрителю, художник. И он передал мне это чувство, заставил меня еще раз испытать прилив влюбленности в красоту средней и северной России, которая всю жизнь властвовала над его душой.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Матери моей Екатерине Александровне

О память сердца — ты сильней
Рассудка памяти печальной.

В РАЗНЫЕ годы эти стихи приписывались то Александру Пушкину, то Аполлону Майкову, то Афанасию Фету. А принадлежат они Константину Батюшкову — моему земляку — и ныне стали почти пословицей.

В глубоком вздохе, как бы невольно вырвавшемся из человеческой груди, — подкупающее обаяние этих строк. Неизбежно, неодолимо вспыхивает желание воскресить страницы прожитой жизни, углубиться в себя, задуматься. Это — виденья чайву, как говорили во времена Батюшкова.

Вот и я поддался очарованию старинного полустиха и медленно-медленно разворачиваю свиток пережитого.

Вырос я в городе, — так во всей округе называлась Вологда: город и город, без само собой понятного уточнения. Двор у нас большой, пыльный и скучный летом, непролазный от грязи осенью, заваленный поленицами дров зимой. За двором, в бывшем крепостном рву, речка Золотуха. Зато сколько находилось здесь укромных «галдарей», сарайчиков, подвалов для детских игр и неожиданных находок!

Жили мы вдвоем с матерью Екатериной Александровной, ныне пенсионеркой. Я пользовался полной свободой и безграничным ее доверием. Подростком мне приходилось помогать матери, позднее даже приобщиться к сценическому искусству — быть статистом в областном театре. Радость первых самостоятельно заработанных рублей — ни с чем не сравнимая радость. Пришла она в канун войны и означала только одно: детство окончилось.

На Карельском перешейке в сорок втором году без вести пропал мой отец. Там же мне впервые довелось выползти на «нейтралку»: необходимо было заминировать передний край обороны. А потом, после перемирия с Финляндией, на своих же минных полях подрывались мои товарищи-саперы — в короткие сроки перемирия надо было снять минные заграждения, а нейтральная полоса была изрыта, перепахана, неузнаваемо обезображена ожесточенным артиллерийским и минометным огнем.

Затем — прорыв на Сандомирском плацдарме; польские села, горящие вдоль всего горизонта; заводские трубы и концлагеря Верхней Силезии; отчаянная переправа через Одер, и, наконец, тот жаркий майский вечер, когда от «цивильного» немца я услышал: «Пан офицер — война капут!». Я не поверил ему, потому что вместе со своим взводом выполнял очередное задание командования: мы пробирались в лесах где-то около чешского города Наход. Славное время, героическое время — восторженные толпы народа вдоль автострад, крики «Наздар!», оханки сирени, невероятное буйство сирени — и музыка, и солнце, и долгожданный мир.

...В старину филологические факультеты назывались отделением словесности. Так вот только словесником я хотел быть после войны; у меня не было присущих молодости сомнений при выборе будущей профессии, — смутно, как говорится, про себя, знал, что лишь в сфере словесности, а если точнее, хотя, может быть, и старомоднее, — изящной словесности — я обрету призвание. Любить же печатное слово меня научила мать.

...Из раннего детства мне памятен такой эпизод. Както на кухне, заставленной столами и корытами, читали вслух книгу. Моя мать любила по вечерам читать вслух соседкам и подружкам. Я не помню, что это была за книга и кто ее написал. Помню лишь свое удивление: из какого тайника мог увидеть тот, кто это написал, как люди ходят по комнатам, разговаривают между собой, о чем они думают, оставшись в одиночестве? Я не представлял себе, что все это, выражаясь академическим языком, плод творческой фантазии, и нередко, играя на полу нашей огромной сырой кухни, начинал нарочито громко говорить и смеяться: кто знает, может быть, он тоже подглядывает за мной в эти минуты?

Не в этом ли чистосердечном удивлении перед искусством, не в этой ли детской вере в реальность, в доподлинность всего изображенного художником живет сама поэзия? Часто книга была как бы продолжением жизни, а жизнь и отношения людей друг к другу поворачивались такой гранью, какую ранее открыли книги. Постепенно я стал замечать, что отдельные стихотворения, иногда даже вскользь услышанные строки заражают меня какой-то особой, чудодейственной энергией, помогают мне преодолеть душевную распутицу, которая, вероятно, бывает у каждого из нас. Эти стихи или строки необычайно точно определяли то состояние, в котором я находился в данный момент, а может знавал в прошлом. А назвав это состояние, обозначив его словом, мне становилось вроде бы легче, я приобретал новый душевный опыт, чувствовал себя хоть чуточку, но взрослее.

Как-то в офицерской землянке — наша дивизия стояла в привислинских лесах — мой товарищ спел «В лесу прифронтовом». Услышал он знаменитый вальс в штадиве и сразу же выучил его наизусть. Под низким бревенчатым потолком, на нарах, застеленных плащ-палатками, мы лежали бок о бок, и каждое слово песни внятно звучало во мраке землянки.

— Постой, постой, — перебил я товарища. — Ну-ка повтори: «А коль придется в землю лечь...»

— Так это только раз, — допел друг, сел на нарах и обрадованно, словно бы свалив с души непомерную тяжесть, ударил меня по плечу: — Чуешь, деревня, — только раз!

Для него, как и для меня, эти строчки были неожиданным откровением. Слышалась в них удаль, бесшабашная решимость, отвага. Они преследовали меня долгое время и — странно — стали чем-то вроде заклятья, выручая в самых невероятных ситуациях. Проваливаясь в

попытки одерской переправы, сползая в полуразрушенные немецкие окопы, перебегая через улицы чужих городов, — я ожесточенно твердил их про себя. Этими строчками я подавлял приступы отчаянья, которые знакомы каждому, побывавшему под прицельным пулеметным огнем, под бомбежкой, под ураганным минометным обстрелом. Так я поверил, что поэзия помогает жить.

...Свиток пережитого медленно разворачивается перед глазами. Образы бывшего всплывают из глубины сознания, как всплывают из озерных глубин тихие, медлительные тени рыб и водорослей. Но звучит неумолчно в душе все то же старинное полустышье, едва различимое, как бывает едва различима игра на клавесине:

О память сердца — ты сильнее
Рассудка памяти печальной.

ЧУДЕСНЫЙ ГОРОД

ИЮЛЬ — самый длинный, самый скучный месяц в году. Игушка снова уехал в Крым вместе с родителями. Вернется он только осенью, перед первым сентябрем, и привезет разные сокровища: засушенного краба, старинную монету, камушки, такие гладкие, что о них можно потереться щекой, можно покатать с ладони на ладонь, можно помуслить, и тогда в темносиних овалах отчетливее выступят белые птичьи глазки.

Но главное Игушка будет рассказывать о море, о Генуэзской крепости. С ее развалин он увидит морской прибой.

Сколько я ни силился, не мог представить себе море: выходило что-то непомерно большое, больше Кубенского озера, — и только. А вот высоту я знал — не раз забирался я на колокольню Софийского собора. Поэтому мне

и снилась Генуэзская крепость: подножие башен уходило в сумрачную пучину, остроконечные шпили впивались в небо.

Даже во сне я ощущал тревожный холодок, подступающий к сердцу, когда смотришь вниз, когда земля неудержимо тянет к себе...

Мама нынешним летом опять будет работать по две смены: осенью придется мне справлять зимнее пальто, ботинки с галошами. В школе идет ремонт, — окна забрызганы известкой, парты сложены штабелями на школьном дворе. Из ребят в городе осталась только Галка, но она — девчонка, да еще живем мы в одной квартире — за зиму надоели друг другу страшно.

А летом без ребят во дворе какие развлечения? У складских ворот понуро стоят ломовые лошади. Пахнет от них крепким потом и навозом, мухи выются у покорных, слезящихся глаз. В деревне лошади другие, — резвые, гладкие, звонко екающие на бегу селезенкой. На такой лошади хоть в ночное, хоть на дальний покос, — только рубашка пузырится на спине, только ветер треплет волосы да хлещет по глазам, высекая нечаянную слезу.

Можно, конечно, сбегать на площадь к котлам, поглядеть, как рабочий, встав на колено, утюжит горячий асфальт, можно незаметно вдавить босую пятку в мостовую, оставить свою метку для будущих времен, можно, наконец, пойти на купалку. Но пока идешь домой мимо полосатых, выцветших на солнце тентов, снова обольешься потом.

По всему видно, лето будет долгим, жарким, с редкими грозами и дождями, ведь минувшая зима была холодной. Это за двенадцать лет моей жизни я не раз проверил.

Жара спадала только к вечеру, и тогда с Галкой мы начинали игру в «двенадцать палочек». Кому выпадало водить, тот должен был оберегать доску, а другой — прятаться. Стоит зазеваться сторожу, как ты выскакиваешь из-за угла, прыгаешь обеими ногами на доску: палочки — р-раз — в разные стороны, а ты с хохотом убегаешь снова. Конечно, вдвоем играть неинтересно, но надо же чем-то занять себя.

Галка, как всегда, водила — я выбирал дворовые закоулки подальше, поглуше. Наконец, мне надоела наша игра, и я решил спрятаться так далеко, чтобы соседка ни за что меня не нашла. Для этого нужно было перелезть через забор, пройти густые заросли крапивы и выбраться на откос Золотухи. Из могучих, тронутых ржавчиной лопухов там торчали остовы старых кроватей, валялись ломаные ящики со склада, дырявый матрас, тазы с пробитыми днищами и прочая домашняя рухлядь.

Я шел по направлению к Каменному мосту, под которым протекала Золотуха. Каменный мост вплотную застроен магазинами, мастерскими, складами, обрывы здесь особенно круты и никто, кроме мальчишек да еще жуликов, не забирается в буйные заросли татарника и лебеды. До кирпичных опор моста оставалось несколько шагов, но они были самые трудные: поминутно земля осыпалась под ногами, крошилась, скатывалась к воде. Я хватался за стебли лопухов, забираясь все выше и выше. И когда рубашка стала мокрой от пота, а лицо густо облепила паутина, — я дотронулся рукой до кирпичной опоры. Внизу, в вонючих коричневых комьях пены, текла Золотуха.

Раздвинув листья татарника и стебли прозрачной лебеды, я даже присел на корточки от удивления: передо мной возвышался город! Террасами, переходами, башенками и башнями он уходил ввысь. Острый шпиль гордо парил над буйными зарослями бурьяна. Низкое, оранже-

вое солнце опускалось за моей спиной, отбрасывая причудливые тени от лопухов. Город был безлюден. Но это безлюдье, молчаливость придавала ему вид таинственный, нездешний. Именно такой была Генуэзская крепость в моих сновиденьях.

Я присел сбоку, замороженно пробегая глазами по переходам, остроконечным шпилям, по низким строениям. Мне даже в голову не пришло подумать, кто выстроил здесь удивительный замок. Он был передо мною, был не мечтой, не сном, не фантазией, а явью, — я мог протянуть руку и осторожно потрогать его, мог поставить сюда человечка из бумаги, мог засадить садами, украсить флагами. Но и без моих украшений город был прекрасен.

Уже совсем за вечерело. От Золотухи стал подыматься ядовитый, тяжелый туман. Надо было возвращаться к себе во двор.

Сон бежал от меня в тот вечер: я воскрешал перед закрытыми глазами башенки и переходы, мечтал, как завтра вечером, непременно вечером, я пойду на откос и тогда вдоволь налюбуюсь моим сокровищем. А когда уснул, то не слышал, как небо раскололи глухие раскаты грома, как проливной дождь захлестал по стеклам, как мама осторожно встала и укрыла меня одеялом.

Когда я выскочил за дверь, во дворе парило — парили железные крыши, стены сараев, замшелые «галдарей», парила мостовая и груды ящиков, сложенных возле склада, пар подымался даже от спин лошадей, как всегда уныло стоявших у ворот.

Весь день я томился ожиданием, бесцельно слоняясь из угла в угол, подходил к забору и возвращался обратно. При виде Галки отводил глаза в сторону, напускал на себя вид равнодушный, деловой.

Однако характера у меня не хватило. Таинственно оглянувшись по сторонам, я поманил ее рукой, помог

залезть на забор, потом соскочить с забора и вступить в густые заросли крапивы. Галка судорожно хваталась за меня, пищала от страха и вообще вела себя, как девчонка. Но я упорно тащил ее к устоям Каменного моста. Вот и знакомый обрыв, выше, выше, — я сдерживаю дыхание, пригибаю мощные стебли лопухов, — и застываю пораженный.

Мой сказочный город исчез, как будто его никогда и не бывало! Нигде не виднелось главного шпиля, сверкающего на солнце обломком стекла, крохотных башен и куполов. На коленях я излазил все лопухи, вернулся к забору, снова прошел весь путь над обрывом, — напрасно, города не было.

Галка, выдирая репейник из волос, ругала меня, как могла, вспоминала самые обидные дворовые прозвища, грозилась вернуться и рассказать все как есть тете Кате, но я был настолько обескуражен, был настолько потерян, что не обращал на нее никакого внимания. До нее ли, решившей, что я все навывдумывал, напсевирал, было мне тогда!

Теперь-то, спустя много-много лет, я хорошо знаю: город, похожий на Генуэзскую крепость, был.

С Каменного моста по длинному желобу дворники сыпали на берега Золотухи пыль. В куче слежавшейся пыли мелкий дождик выбил стенки, террасы, призматические столбы. Однако ночная гроза, которую я смутно слышал сквозь глубокий сон, размыла пирамиду до основания.

И все-таки тягостным, скучным, жарким июлем я, вероятно, был счастливее Игушки, который беспечно загорал в далеком Крыму. Я все-таки был его богаче: городские задворки — мы ли не знали их — одарили меня чудесной тайной.

НАДО было найти в сенях старый мешок, вывернуть его углом, накинуть на голову и боком-боком — подалее от оконца — спуститься с крыльца. А уж потом припустить так, чтобы замелькали колья загороды, чтобы лужи разлетались вдребезги. В ушах только свист ветра да запоздалый крик тетки: «Куда вы, дьяволы-ы?..»

Но от отчаянного восторга дыхание перехватило в груди, босые ноги не чувствуют осклизшей тропинки, дождевые капли высыхают на пылающем лице.

Небо — серое, обложное и такое, что кажется, подскочи на бегу — и зачерпнешь в горсть белых, набрякших водой прядей. Долгое ненастье приблизило к деревне край земли: он где-то здесь, сразу же за скотным двором, за кучами навоза, дымящимися теплым парком. Вбежать бы на эти кучи да отогреть бы занемевшие от холода ноги. Но — мимо скотного двора, мимо последних изб, которые, словно старухи, только что вышли из мелколесья и вымокли там по пояс; до самых застрех исхлестали их многодневные дожди.

Ведро не обещают ни чуть приметный ветер со Спаса, ни густая пелена тумана над ельником. Нигде не видать ни души: деревня затихла, притаилась в ожидании золотого солнечного луча. В такую погоду сторож Вахромеев сидит, наверно, в избе Митрия-кузнеца, в крайней избе всего посада. Он всегда там сидит, когда на улице непогода. Расставит ноги в латанных-перелатанных, огромных, как две пароходные трубы, валенках — и сидит на лавке возле двери. Дымит самосадам, складывает окурки под порожек к венику, говорит всякое такое, что на ум взбредет, а сам ждет, когда накроют на стол, поставят самовар да позовут его пить чай с медом. Хозяйка

у Митрия молодая и поэтому добрая, всегда Вахромеева чаем угощает.

Но это так, между прочим, пока летишь что есть духу к поскотине, успокаиваешь себя, отгоняешь тайные мысли: а вдруг выскочит Вахромеев из шалаша, заорет, затопает валенками, схватит старую берданку да как бабахнет... Мимоходом заглядываешь в шалаш, сбитый из замшелых досок. В нем только сенная труха да прокопченный чайник в углу.

Мы с Санькой сбавляем бег. Близко заветная межа, где налево — волны серебристо-зеленого гороха, направо — длинные ряды репы, — что хочешь, то и выбирай. Теперь можно огдышаться, можно не торопясь идти по меже, иногда срывая пузатый стручок, иногда дергая за жесткие будылья репы. Жаль, что мешок надо снимать с головы: не тащить же за пазухой вороха гороха и тяжелые ядра репы, облепленные вязкой землей. От одной этой мысли мурашки по спине пробегают. На тебе нитки нет сухой, штанины облепили икры ног, рубашку — хоть выжимай, но все кажется мало, все еще жадно шарят глаза по ту и по другую сторону межи. Ну, хотя бы вот эту, — суглинок размыло дождем, и глянцево-блестящий бок репины, огромный, как месяц над поскотиной, обнажился, зажелтел — ну, просто нет никаких сил удержаться и не вырвать ее с тяжелым придыханием.

Теперь все, кажется, все. Закинув мешки за спину, мы с Санькой легкой рысцой направляемся к дому. Идем задом — мало ли что может случиться? Но это так, для порядка. Пьет Вахромеев десятую чашку чая и прикидывает про себя, зачерпнуть ему душистого янтарного меду или все-таки воздержаться, поводить куском пирога по дну щербатого блюдечка, вздохнуть и отставить чашку, предварительно перевернув ее вверх дном... Надо ведь соблюдать и приличие, и хозяев не обидеть да и себе

чтоб, конечно, не было обидно. Вздыхает Вахромеев, отставляет от себя блюдо с чашкой далеко-далеко, говорит снова всякую всячину, а мы уже вытряхиваем мешки возле крыльца, полощем желтую репу в бочке, посмеиваясь, тычем друг друга под бока. На подоконнике повисла наша челядь: Мишутка, Аришка и даже голопузый Юрка вылез и тарацит глаза на нас сквозь туманное стекло.

Тетка ушла — и мы в избе полные хозяева-большаки. Санька достает из укромного уголка ножик, выточенный из старой ножовки, я беру городскую перочинку — наступает сладостный момент, награда за озноб, который колотит нас даже здесь, в чистой, пропахшей печеным хлебом и укропом избе.

— Балашка, балашка, — тянет голопузый Юрка, и мы, снисходя к его малолетству, начинаем вырезать первого барашка.

Ядреную репину надо положить в ладонь, взять нож и, срезав круг, завить кожуру тонкой спиралью. Спираль эта ни разу не должна поломаться, а должна снова сложиться на столе неким подобием репы. Из-под лезвия ножа сверкает желтая, как засахарившийся мед, мякоть репы. Землей, полевой свежестью и еще чем-то таким острым, что и определить трудно, пахнет теперь в избе. Постепенно вырезаются крутые рога, спинка, даже маленький хвостик — баран ставится перед самым Юркиным носом.

В избе слышно только напряженное шмыганье носами да однообразное гудение мух у загнетки. В тепле нас с Санькой разморило, глаза слипаются от усталости, но мы не можем остановиться; челядь заморожена превращением репы, которую тетка скармливает корове или томит в печке, во что-то совершенно необыкновенное. Стол завален маслянистой желтой кожурой — стадо растет на

глазах. Есть в нем крохотные барашки, есть однорогие неудачники и веселые бараны-зайцы. Иные тут же съедаются, иные берегутся для игры.

Теперь не нужно протирать запотевшие стекла и с тоской смотреть, как отряхиваются куры под соседским крыльцом, как рябит лужа порывами ветра, как перебегают улицу, накрывшись плащом с головой, базниковская Верка. Теперь можно ехать в город, торговать на базаре, меняться друг с другом, спорить из-за вываленного в пыли, замусоленного барана, чтобы в конце концов потерять его где-то в подпечке и уснуть в тихих дождливых сумерках вповалку здесь же, на широких лавках избы. А утром проснуться, выскочить на крыльцо и долго и счастливо жмуриться от неправдоподобно горячего деревенского солнца.

* * *

Я поднялся на шестой этаж, хлопнул дверью лифта и вошел в квартиру. Поставил на табурет хозяйственную сумку, бока которой распирала рыночная снедь, позвал из соседней комнаты сына.

— Смотри, что я тебе принес. — Малыш выжидательно помолчал. — Это же репа!..

Поверх пакетов с картофелем и луком лежало полдюжета сморщенных, пожелтевших репок. Сын вежливо повертел одну из них в руках и положил обратно.

— Хочешь, я тебе барана сделаю? — все еще питая надежду заинтересовать его, спросил я.

На какое-то мгновение, когда я срезал, вернее, кромсал кожуру, в глазах сына мелькнуло любопытство. Но вот сухая, как дерево, репа очищена, выструган баранчик. Нет, не баранчик, а нечто квадратное и малопривлекательное поставлено на стол. Мне самому стала смешна моя затея: ни с каких станций не уходят поезда в страну

нашего детства. Я горестно сгреб баранчика вместе с очистками, завернул все в газету, хлопнул крышкой мусоропровода. Сын ушел к себе.

Медленно покуривая сигарету, я долго глядел в широкое окно кухни на коробки домов, уходящих к самому горизонту. Потом зашел к сыну. Перед ним лежала раскрытая коробка немецкого «конструктора». Неумелыми, неуверенными пальчиками он пытался свинтить передвижной кран. Гайки и винтики выскальзывали из рук, сын сердито сопел, но не отступал от задуманного. Холодно поблескивали перед ним металлические планки, угольники, спирали, блоки «конструктора». Но в глазах сына я увидел жадные огоньки любопытства, которые так тщетно мечтал увидеть вначале.

ЛАНЧИК

ИДЕМ в Сады? — спросил меня тезка, парень лет семнадцати, надевая праздничную ковбойку и доставая из сундука гармонию.

Садами на Сяме зовут бывшую поповскую усадьбу, где в бывшем же поповском доме с тридцатых годов находился сельский клуб. Вообще-то садов здесь и в помине не было: они померзли в сороковом году, да так и не отродились. Но сохранилась в Садах задичавшая аллея, кольцом окружающая пруд. Там-то и собиралось ежевечернее гулянье, там можно было повстречать знакомых девчонок, поугатать их из зарослей, а то и подраться из-за дроли с излишне настойчивым ухажером. Сады располагались поодаль от деревень — без родительского надзора было вольготнее молодяжке, как зовут в деревнях подростков. Известное дело, чуть завечереет, вылезут старухи на завалинки и заладят: «А мой-то Ваня, а ваш-то Саня...»

Короче говоря, до Садов надо было идти километров пять, но желание увидеть деревенское гулянье было настолько велико, что я охотно согласился. Когда мы пришли, Сады были уже пусты. Возле клуба тарахтел движок — вот-вот должно было начаться кино. Мы стали протискиваться в тесные сенцы, мой тезка сразу же потерялся в толпе, и я был вынужден один смотреть какой-то трофейный фильм еще довоенной давности. От старости лента была не черно-белой, а почти прозрачной. Она беспрерывно рвалась, и тогда киномеханик зажигал переноску, ребята гуртом валили в сенцы покурить, а девочки шушукались, окликали подружек, беспокойно вертелись, ждали, когда окончится эта маята.

Наконец актриса в последний раз заломила руки, в последний раз мелькнула какая-то тень, — картина кончилась.

Одним моментом длинные скамьи были составлены в угол; девочки побрызгали из чайника и подмели пол, принесли бак с водой и кружкой. Заиграла гармонь, начались танцы.

Сыграв для приличия какое-то подобие вальса, мой тезка — он сидел в углу с ухажерками — рванул свою, деревенскую. Бесконечной чередой сменялись пары; парни с низко опущенными губами, с отрешенными, каменными лицами бухали об пол так, что покачивалась под потолком висячая лампа; их подружки, в красных и синих плащах, в белых платочках, ловко дробили, тоненькими голосами выкрикивали частушки. Потом пары сходились, и парни, не меняя выражения лица, ожесточенно вертели подружек, а те взвизгивали, хватались за подол и быстро-быстро перебирали ногами. Все здесь было, как на «взрослом» гулянье, и даже танец этот, называемый «заинька», был известен на Сяме с незапамятных времен. В молодости «заиньку» играли наши прабабки, причем

если было несколько гармонистов, то играли «заиньку» много часов подряд. Так было и в Садах из вечера в вечер. Но вот тезка внезапно остановился, поперебирал лады, подождал, пока отдышатся танцоры, и начал незнакомый мне мотив. «Что это?» — спросил я у соседки, забившейся в полумрак избы и ни разу не рискнувшей выйти на круг. «Ланчик», — еле слышно прошелестела она.

Теперь парни встали у одной стены, девушки — у другой. Парни пошли им навстречу, — тут поднялся такой топот, словно по избе пробегал табун коней. Затем девушки наступали на парней, а парни разбирали своих подружек и вертели их с еще большей силой, чем в «заиньке». Потом все начиналось с начала.

Поздней ночью я выбрался из избы. Высокое, поблескивающее звездами небо после недавней тесноты казалось еще выше, заросли черемухи в Садах — чернее, воздух — духовитее и прохладнее. Постепенно в ушах смолкал однообразный хрип гармоники, гулкая дробь каблуков, выкрики частушек, и тишина, как бесшумная ночная птица, начала сужать и сужать над головой свои круги. Я очнулся от внезапного ожившего динамика на высоком столбе. Сладкозвучный голос певца хватил за сердце. «И на тайное свиданье приходи скорей» — выводил он, и странно было думать, что всего в сутках езды от Сямы есть огромные, залитые светом концертные залы, чинная публика, праздничный блеск неоновых реклам, толпы прохожих, глухой рокот большого города, не смолкающий, не затихающий, как морской прибой, ни на мгновение.

И пока я шел полевой дорогой, белевшей во тьме, я видел перед глазами озаренный прожекторами алый бархат занавеса. Вот он медленно подымается, вот выходит, — нет, легко плывет в тяжелом платье ведущая концерт, вот она объявляет в микрофон:

— Старинный северный танец «Лансе».

Легкое движение пробегает по залу, словно ветерок налетел на осиновую рощу, налетел — и стих. Три баяниста согласно берут величавый, спокойный наигрыш, и так же величаво выплывают на сцену русские боярышни и танцоры в высоких сапогах и длинных рубахах. Спокойствием, сдержанностью веет от каждого их движения, согласием и долгой выучкой от неторопливых па. Хочется, чтобы это праздничное, залитое то голубоватым, то оранжевым светом рампы танцевальное действие длилось и длилось, чтобы глаз радовался, видя тонкий вкус художника, оформившего эти костюмы, мастерство балетмейстера, поставившего этот танец, изысканное искусство всей танцевальной группы.

Из глуши северных лесов пришел этот танец на столченную сцену, претерпев на долгом пути удивительные изменения. Но, думал я, надо чтобы он вернулся к себе на родину, в те же сямские Сады, в одухотворенном, облагороженном виде, чтобы он стал доступен моим землякам.

...Длинна ночная полевая дорога. Чего только не предумает одинокий прохожий, овеваемый то теплом нагретых за день хлебов, то холодом туманных, сумрачных низин.

СЕЙ ДОБРО

СИЛЬНЫМ гребком я разогнал лодку, и пока она скользила по темной озерной глади, наскоро выбрал лески, зацепил блесны за борта, поднял слань, вычерпал воду, и только после этого разогнулся.

В глаза мне ударило белоснежное диво облаков. Они давно и неподвижно стояли над головой, но я не замечал их, однообразно раскачиваясь взад и вперед, делая по воде большие круги и часто то притворно-равнодушно, то

напряженно поглядывая на сторожки. Лески безостановочно чертили воду, слегка подрагивая от вращения блесен; самодельные колокольцы на сторожках молчали, и мне не оставалось ничего другого, как грести и грести, постепенно погружаясь в какое-то мрачное оцепенение. Встав еще до восхода солнца, я, как говорится, маковой росинки в рот не брал, подхлестывая себя надеждой, что вот сейчас, вот в это самое мгновение сторожок судорожно задергается, леска запружинит, и где-то там, метрах в тридцати позади лодки, озеро вспенит раскрытая пасть щуки. Тогда можно будет передохнуть и с тоской подумать о черстве горбыле хлеба и головке лука, которые я впопыхах оставил в избе. Но удачи в этот день не было. Легкая зыбь сладко почмокивала о днище лодки, и кроме этого чуть слышного плеска ни единый звук не нарушал тишины июльского полдня.

Солнце накалило мне плечи и голову, но мне казалось, что в ушах звенит не ток крови, что это звоном звенит выпуклая гладь озера, звенят туго натянутые солнечные лучи, нимбом расходясь вокруг моей тени на воде. А сквозь этот звон и зной медленно, бесшумно на меня рушился белый водопад, снимая усталость, заставляя широко раскрывать глаза, залитые потом. Красота-то, красота-то какая!

Я посмотрел против солнца и увидел силуэты рыбачьих лодок. Взмахи длинных весел придавали им удивительное сходство с караваном птиц, которые вот так же неторопливо и тяжело взмахивают крыльями в долгом полете.

Откинувшись на переднюю скамейку, я сладко потянулся, и тут только мое внимание привлекла дымная полоса, протянувшаяся над тихим озером. Одинокая лодка оставляла за собой этот бурый, долго не тающий в летнем мареве след. «Чем черт не шутит», — подумал я и

нехотя взялся за весла. Непрестанно оглядываясь, я увидел, как со скамейки встал человек и замахал мне рукой. Я навалился на весла, вода сильнее зажурчала под днищем, и чужая лодка стала расти прямо на глазах. Легкий толчок, и мы встали борт о борт. Сосед прикрутил уключины обрывком веревки и сказал, широко улыбаясь:

— А ты, парень, прямо к обеду поспел.

На носу его лодки возвышалось диковинное сооружение. На железном листе стояла печурка, короткая труба была отведена за борт, она сильно дымила. К печурке, раскалившейся до малинового жара, была прикручена большая эмалированная кастрюля, в которой побулькивало какое-то варево.

— Мне подумалось, уж не горит ли чего, — заметил я, отдышавшись.

— Угадал. Не горит, а пригорает. Супец пригорает. До тебя грести — версты три, вот я и помахал рукой: поспешай, мол, парень, пока совсем не сгорело.

Я никогда прежде не видел этого человека, да и вообще мало кого знал в округе. Но он обращался ко мне так, словно мы знакомы сто лет. От солнца, от ветра лицо его стало медно-красным, губы потрескались и слегка шелушились. На вид рыбаку было лет пятьдесят, а может, и меньше, — в деревнях люди выглядят значительно старше своих лет. Порывшись под скамейкой, сосед достал две алюминиевые ложки, две миски, отрезал два здоровенных ломтя хлеба, открутил проволоку от кастрюли и стал наливать густое варево через край. Большие куски тушенки нехотя вываливались в миску. Лицо рыбака окуталось ароматным парком, он поднял брови, и тогда белые лучики морщин разбежались от глаз. Я сглотнул голодную слюну, глядя на его хозяйскую рачительность и добросовестность. Миска дымящейся похлебки, остро папахивающей лавровым листом, заправленной крупой и

большими картофелинами, была передана мне вместе с ложкой и хлебом. Ели в полном молчании. Только сейчас я понял, какое счастье подвалило мне: озерная вода, которую я пил с утра, тяжело булькала в животе, от папирос подташнивало и першило в горле. Я сразу же очистил миску, получил добавку, снова выскреб все до дна и лишь после этого помыл посуду, отдал ее хозяину и закурил.

Рыбак стал неторопливо вставлять весла в уключины. Я начал было рассыпаться в благодарностях.

— Пустое, парень. Сей добро на лес, и то пойдешь да найдешь, — сказал он на прощание.

Взмах, и еще взмах, и еще взмах весел, — лодка стала все больше напоминать птицу, таять, исчезать в золотистых отблесках раннего вечера.

Я направился в устье Ельмы, в деревню, прикинув про себя, что лишь с темнотою попаду в дом.

В лад сильным и четким гребкам, в лад спокойному журчанию воды во мне звучала пословица, которой я никогда не слышал прежде. Сей добро на лес (передышка, глубокий вздох), и то пойдешь да найдешь (снова передышка, снова глубокий вздох).

Меня завораживала необычность ударений, внутренняя музыка пословицы, отшлифованная в столетиях красота созвучий. Потом пришло другое — меня захватила красота мысли, красота идеи, вложенной в эти певучие слова.

В самом деле, каким бескорытием, какой вселенской добротой надо было обладать тому русскому человеку, которому впервые довелось высказать эти слова. Он знал, северные чащи — непролазны, в этих чащах, как и в миру, бесполезно искать отклик на твою доброту. И все-таки сей добро на лес, иди к людям с добросердечием, — тебе добром же воздастся за твое добро!

...Закат прокатил по озеру алую бархатную дорожку, она тянулась от кормы лодки до самого горизонта, до той невидимой черты, за которой давным-давно скрылась добрая душа — мужик-кубеноозер.

ПОЛЕТ В ГРОЗУ

НАШ «борт» запаздывал с вылетом. Двигаясь вслед за тенью, я успел обсесть обе скамейки перед невзрачным домиком аэропорта, выучить наизусть расписание местных авиалиний, изобрести и отвергнуть множество вариантов собственного вызволения из этой, как мне тогда казалось в сердцах, несусветной дыры, а самолета Белозерск — Вологда — хоть ты пропади! — не было и в помине. И только когда я твердо решил возвращаться в Дом колхозника, повернулось какое-то колесико в летном расписании, сработал какой-то механизм, и перед самым моим носом затрещал легонький «Як».

Спешно протиснувшись в кабину рядом с пилотом, я облегченно вздохнул: ожидание и неизвестность — две дорожные подружки-неразлучницы — оставались на летном поле. Пилот достал планшет, поправил ларингофон, включил зажигание. Под крылом дрогнуло, заструилось, стремительно понеслось назад полевое разнотравье: «Як», мягко подпрыгнув, оторвался от земли и начал набирать высоту.

Голубая стена Белого озера в последний раз напозла на стекла кабины и разом схлынула, уступив место медлительным перелескам и полям. Солнце садилось. Вечерние тени переклестнули лесные поляны, даже больше — скосили набок всю местность, придали ей какой-то непривычный, неестественный вид. Мы летели в верховьях Шекснинского водохранилища, и теперь было отчетливо видно, каких трудов, затрат и каких потерь стоит че-

ловеку преобразование лица родной земли. Из-под тонкого слоя воды проступали пашни, змеились полевые тропинки, дороги влетали прямо в темную зыбь, надолго исчезали под водой, чтобы, вынырнув, снова петлять по округе.

Постепенно горизонт стал окутываться спзой дымкой, земля пошла плавными волнами. Солнце опускалось в эти дымчатые волны. Оно казалось огромным красным глазом, бесстрастно взиравшим на плавные валы земли, которые текли и текли под крылом самолета.

И впервые подумалось мне, как в сущности равнодушна природа и к своей бессмертной красоте, и к самому человеку, ко всем его делам, заботам и страстям. Перед туманным безбрежным океаном, раскинувшимся внизу, мое человеческое «я» стало стремительно уменьшаться, оно превратилось в пылинку, слабо и немощно парящую в высоте. А ведь эта высота ничтожна перед грозной и тревожной беспредельностью Вселенной, перед неисчислимостью иных миров.

Я искоса посмотрел на пилота. Его грубоватое скуластое лицо было непримечательно, таких лиц немало встречается в северных деревнях. Кровь деревенских предков сказывалась в медлительных, но точных движениях пилота, в его манере держать штурвал. Возможно в дни военного детства он так же крепко держал сошники плуга, а молодым парнем крутил баранку на непролазных вологодских проселках. Все возможно, потому что в его обличье было что-то до боли знакомое, и, не найду другого слова, родное.

Наш выдавший виды самолетик был для него привычен, как привычна его брату жнейка или его деду соха. И тут я понял, что не так уж незначителен и ничтожен человек перед звездными пропастями Вселенной, если оратаи земли спокойно пахут заоблачные хляби. Как

человек далекий от техники, я с каким-то особым уважением, даже восторгом отношусь к тем, кто по призванию или просто по профессии берет на себя ответственность за жизнь других, кому мы, пассажиры, вверяем свои судьбы. На сколько времени — это не важно: мера ответственности водителя воздушного такси не меньше ответственности командира транссибирского лайнера. Ведь в воздухе не предугадаешь, что произойдет через минуту. Так было и теперь. Пилот, словно бы между прочим, кивнул мне вправо: невиданное зрелище поразило меня.

Половину свободного небесного пространства закрывала стена грозových туч. Она отделяла нас от остального мира черным береговым откосом. Над ней слабо поблескивали первые звезды, а подошва ее сливалась со свинцово-синими волнами земли. В этом густом месиве ежеминутно вспыхивали кроваво-красные зарницы: так на фронте били в ночи орудия — две-три вспышки, перерыв, снова вспышки. Это сходство с орудийными залпами невиданной мощи удивило меня, — на земле молнии видятся иначе, в них нет багрового, опоясывающего горизонта блеска, который расслаивает облачные пласты, резко кромсает их.

Самолет стал проваливаться в воздушные ямы. И хотя мы давно должны были приземлиться на вологодском аэродроме, наш «Як» все тянул вдоль грозowego материка, все огибал и огибал его по некоей бесконечной, как мне думалось в полете, орбите.

...Ожидая со своими нехитрыми пожитками автобус, я видел, как пилот вышел из аэродромного домика с фибровым чемоданчиком, с каким ребята-спортсмены возвращаются с тренировки. Он не размахивал этим чемоданчиком, не насвистывал на ходу, не шагал вразвалку, а просто шел к автобусной остановке, как идет любой из нас, закончив рабочий день.

У ЖЕ не первый раз золотым бабьим летом я возвращаюсь в Москву. За окном — по-осеннему чистые поля и пашни, пустынные перроны северных станций. Поезд останавливается часто и стоит одну-две минуты. Вот и сейчас к вагону подошла одинокая древняя старуха. Бормоча что-то под нос, она сует проводнице, стоящей у вагона, сморщенной темной рукой такое же сморщенное, в темных крапинках, яблоко. За водокачкой, за станционными пристройками вьется полевая дорога, за взгорком видны серые от дождей деревенские крыши, старые тополя, остов ветхой колоколенки.

Поезд медленно трогает, и косяки вагонного окна начинают мерно отсчитывать телеграфные столбы. На невысокой насыпи поезд снова замедляет ход. Лес еще зелен, но уже припорошен первой золотой пылью. Тонкие ветки молодых березок сливаются с темной чащобой, и желтоватое облачко парит неподвижно на обочинах вдоль пути. Когда я отвернулся от окна, напротив меня сидел новый пассажир. Он сидел на нижней полке, свесив обрубки ног в кожаной «обсоюзке». Помятый, затасканный пиджак, свалывшаяся рубашка, — все обличало в нем горькое наследие военных лет. Его глаза были под стать выцветшему осеннему небу — такой же ясной прозрачности и синевы. Без вступлений, без перехода, как о само собой разумеющемся, он начал рассказывать о себе.

— Баянист я. Работа у меня чистая, хорошая. Когда сижу в чайной, — а я в чайной в Грязовце играю, — ног не видно. Меня даже одна женщина танцевать приглашала. Да, еще года три назад танцевал я хорошо: мог и вальс, и фокстрот, и нашу деревенскую мог. А вот теперь, — он посмотрел на «обсоюзку», — теперь нет, видно, оттанцевал. А началось все с пупырышка, вот с такого

пупыречка. — И он показал мне заскорузлый, грязповатый палец. На пальце я действительно увидел черное пятнышко с бархатистой серой каймой.

— Это она и есть — гангрена, — пояснил сосед спокойно.

Я содрогнулся от этого спокойствия, от этого чистого сияния голубых глаз. Человек, видимо, по-своему оценил мое молчание и продолжил рассказ. В его простодушии не было ни рисовки, ни болезненного упоения своим несчастьем, а одно только желание развлечь незнакомого человека, скрасить часы долгого пути.

— Сам я с двадцать четвертого года. Ни одного ранения за всю войну не получил. Может, потому — служил на флоте. Под Сталинградом — и то уцелел. Был я тогда в морской пехоте. Тельняшку нам под гимнастеркой для отличия разрешали носить. И думал ли я тогда, что без обеих ног останусь? Врачи говорят — это следствие простуды. Какой, где? — разве упомнишь, сколько лет прошло с тех пор, все позабылось. А она, война-то, воп как отыгралась...

Человек достал смятую пачку «Норда», закурил.

— Ведь столько лет прошло, — повторил он, — вы только подумайте!

В этом восклицании было столько горестного недоумения, что сердце мое кольнула острая игла сострадания и полной своей беспомощности перед чужим горем.

— Говорят врачи, уронил, мол, что-нибудь на ногу в воде, — продолжал мой собеседник. — Может, и уронил, — потаскал грузов-то, поскрипел хребтом. После войны мужиков в колхозе осталось я да Иван Росляков. Колхоз подымать надо, семью подымать. Тут уж о себе не думал. А когда сделали первую операцию, понял: другим себе пропитание зарабатывать придется. Я и на баяне-то

в госпитале играть научился. Нужда да беда, она хоть кого уму-разуму научит.

Человек как-то осторожно, нерешительно улыбнулся. Потом вскинул на меня ясные синие глаза.

— Баян у меня хороший, кирилловской работы баян. Вот еду в госпиталь: отнимут, видно, руку напрочь... Продавать баян-то придется: ребята малые, — шестеро их у меня, — для баловства инструмент дорогой...

Сосед вопросительно посмотрел на меня, словно бы желая узнать, доподлинно ли стоит ему продавать баян, или, быть может, и так все обойдется. Его глаза излучали такой нестерпимо-синий блеск, что я поспешил отвести взгляд в сторону и только молчаливо покачал головой в ответ.

Сквозные перелески, припорошенные нежной желтизной, плыли в вагонном окне. Иногда они размыкали свою золотую цепь, и тогда открывались взору тихие, задумчивые поля. Не каждому дано оценить их скрытую красоту и величавость. Не каждому дано почувствовать за этим забытьем беспредельный молчаливый порыв. Но тот, кто ощутил на своем лице их легкое дыхание, кто впитал глазами их неяркие тона, тот, верю я, никогда не забудет отчего порога.

О, родина моя, страна Прометеев!

БЕРЕГ ОЛЕШКИ

ПО ОЗЕРУ шли длинные пенные полосы. Ветер срывал гребни волн и пригоршнями брызг бросал их в лицо. Утираться было некогда: то правое, то левое весло судорожно хватало воздух, лодка сразу же становилась боком к набегающей волне, и тогда надо было снова выворачивать ее наискосок качающимся хлябям. Если лодку держать чуть наискосок перекату, она плавно

соскальзывает с волны, а не рыскает из стороны в сторону; взлетающую вверх корму не захлестывает девятый вал, и нос лодки не черпает, как ковш, озерную брагу.

До берега было уже недалеко. Но очутиться в воде, а главное, утопить снасти, немудрое рыбацкое хозяйство, — эта возможность никак не устраивала меня.

Подгоняемый вспененными валами, я наконец-то с силой врезался в песок, соскочил в воду и стал тянуть лодку посуху до тех пор, пока хватило сил. Песок был утрамбован прибором — на нем даже не оставалось моих следов.

Разгоряченный безостановочной греблей, я не чувствовал вначале ни пронзительного ветра, ни холодного песка. Насколько хватало глаз, приборная полоса была безлюдна, и моя лодка, лежащая на боку, придавала берегу вид еще более заброшенный и пустынный.

Так вот он какой, Шелин мыс!

По рассказам других рыбаков я знал, что сразу же за приборными песками тянутся заросли тресты, потом идут мшарники, поросшие осиной и болотной березой, потом леса и леса — вплоть до Уфтюги, а может, и дальше.

Озеро гудело. «Беляки» испятнали даль, линия горизонта крылась в туманной дымке. В такую непогоду о возвращении домой и думать нечего: снесет на Спас-Камень, а то и в самое Устье-Кубенское.

«Что ж, придется загорать» — невесело решил я про себя и только теперь почувствовал приступы озноба, безостановочно сотрясавшие меня. Чтобы разогреться, я вбежал на песчаный бугор, спустился с него и поразился внезапной тишине. «Эх, наберу-ка плавника да разведу где-нибудь здесь, в тишине, костерок». Решено — сделано. Раздвигая руками высокую тресту, я выискивал место посуше, поуютнее. У старой осины, отчаянно трепещущей листьями, нагнулся за сухой валежиной, а когда выпрямился, то увидел два изумленных, круглых глаза, глядев-

ших на меня в упор. На миг я остолбенел. Потом мелькнуло: «Да ведь это же олененок!» Он стоял так близко от меня, что казалось, можно дотронуться рукой до мягких, четко вырезанных ноздрей, до крутого бархатистого лба. Еще какое-то мгновение мы смотрели друг на друга. Потом за олененком что-то тяжело и сильно качнулось, что-то прошуршало в тресте — и видение исчезло. Даже следы, когда я подошел поближе, засосала болотная ржа.

Возвращаясь обратно на пески, я нет-нет да и ухмылялся про себя, все удивленно встряхивал головой: ведь надо же такому случиться! Никогда прежде я не видел олененка на воле, а тут выскочили друг на друга, и стоило мне протянуть руку, как я мог погладить его по доверчиво-изумленной мордочке. Вот тебе и полное одиночество, вот тебе и кубеноозерский Робинзон!

На песке между тем повсюду валялись серые, отполированные словно кость, ивовые ветки и корни. Я натащил их целый ворох и свалил в кучу. Рядом вбил кол для чайника, разжег костер, подстелил под себя старый ватник. Хо-ро-шо! Озеро гудело глухо и непрерывно, как гудит, вероятно, под ветром один лишь сосновый бор. Надо было набираться терпения и готовиться к долгому ожиданию. Волна могла стихнуть, пожалуй, к вечеру, это в лучшем случае, а то и к завтрашнему утру.

Не торопясь, я поставил на костер чайник, выпил три кружки горячей воды, съел припасенный хлеб, перемотал дорожки. Потом, не зная, чем занять себя, полежал на спине, поднялся и стал выбирать ивовое корневище поувесистее, потолще. В памяти нет-нет да и всплывали два круглых, даже как будто квадратных от изумления глаза, а я хмыкал и мотал головой, словно стремился отогнать от себя непрощенный пристальный взгляд.

Сидя у костра, я бездумно постукивал по песку гладким, сухим корневищем, потом попридержал его на весу

и внимательно взгляделся. Что-то неуловимо знакомое мелькнуло в этом изгибе; я повернул корень — все исчезло. Снова восстановил прежнее положение — теперь яснее проступило увиденное вначале. Батюшки, да ведь это же олешка! Ну да, вот и нежная шея, и гордо вскинутая голова, и чуткий, характерный вырез ноздрей — все, все, как это было недавно. Нужно, пожалуй, только подрезать вот этот сучок да чуть-чуть подстрогать — и лучше не придумаешь: сама мать-природа изваяла из корня изумительный шедевр. Я поворачивал корень так и эдак, откладывал его в сторонку, снова брал в руки, но образ, поразивший воображение, не покидал меня теперь ни на минуту. Дальше медлить не было никаких сил. Охотничий нож в руке, корневище — на коленях. «Держай, новоявленный Роден», — усмехнулся я и приступил к делу.

Увиденное внутренним взором отчетливее проступало наяву: теперь поворот головы был выразительнее, ощущалось в нем любопытство и настороженность. Еще немного — и настороженность исчезла, осталось только любопытство и только доверие, даже больше — какая-то безотчетная ласковость чувствовалась в этой вытянутой вперед шее олененка. Больше ничего нельзя трогать, решил я про себя и, подхлестнутый волной безотчетной радости, выскочил на бугор.

От резкого встречного ветра у меня перехватило дыхание. Озеро почернело, и прежде едва видимый горизонт застилала тяжелые дождевые облака. Прибой шел теперь по ивовым кустам. Они низко пригибались к воде, волны с грохотом проходили их, выворачивали замшелые коряги и, откатываясь назад, тащили эти коряги за собой.

Тяжелая работа прибоя, казалось, длилась целую вечность, ярость его была бесцельна и неутолима.

Я вернулся к костерку, который едва теплился, сел за ветром и потянулся к корню. Олешка, маленький, ласко-

вый олененок, был теперь у меня в руках. Я уже думал о том, как поставлю его к себе на письменный стол, как придет мой сосед Василий Семенович и будет дивиться моей неожиданной находке. Нужно только вот здесь чуть-чуть убрать, и все будет в порядке.

Я резко нажал — от изваяния отскочила большая щепка. Все! Немыслимо-нелепый корень я держал перед собою. Был он только кое-где обструган, но ничем больше не отличался от вороха таких же ивовых палок, которые лежали на песке возле замирающего костерка. Не знаю, вероятно, никогда раньше я не испытывал приступа такой горькой досады на самого себя, как в это мгновение. Ведь надо же, ах ты боже мой, ведь надо же такому случиться! И, кроме себя, винить некого!

...Когда поздним вечером я отчалил от Шелина мыса, в рваные прорехи облаков кое-где посвечивали первые звезды. Может быть, и правильно, что Шелин мыс назвали Шелиным мысом, думал я, безостановочно склоняясь над веслами, может быть, этот самый неведомый мне Шелин и достоин этого, но про себя я назову его по-другому: Берег Олешки! Для меня это название полно поэзии и светлой печали.

СОКОЛЁНА

ТОЛЬКО однажды, да, пожалуй, только однажды я слышал, как звенят колокольцы почтовой тройки. Память случайно выхватила это воспоминание, вне всякой связи с другими, но четко и зримо.

...Тропу заплела спелая рожь, и колосья с вкрадчивым шорохом клонились к моему лицу. На бегу, — я держался за подол материнской юбки, — мне хотелось подпрыгнуть и оглядеть это знойное, плавное колыханье. Но

сколько я не вытягивался, мне виднелись одни беспокойно кивающие колосья ржи да пушистые маковки осота. Я притомился в сухой духоте ржаного поля, оттопал пятки о каменистую землю, а тропинка по-прежнему волнисто бежала по бороздам, синё мерцала васильками. Мать шла быстро, и я, вцепившись в край подола, топтал следом такой вспотевший, такой радостно-возбужденный, что мать не могла сдержать молодой доброй улыбки.

Было тихо, так тихо, как бывает в полдень в густой ржи, когда басок шмеля сонно гудит под ногами, когда не прекращается странное шелестенье, то ли солнечных лучей, осыпающихся на землю, то ли колосьев, плывущих волнами.

Внезапно далеко-далеко за сухим, пепельным зноем что-то народилось, стронулось с места и покатилося гулкой горошиной. Горошина, подпрыгивая на ухабах, разрасталась, потом враз рассыпалась на множество звонких хрусталиков, — и я услышал храп коней, дробный ливень копыт, неостановимый говор колес.

— Что это, мам? — спросил я, подпрыгивая на бегу.

Мать держала на плече тяжелый чемодан и, не оборачиваясь ко мне, коротко сказала:

— Почта.

Она напряженно смотрела вдаль, боясь, что вот-вот в голубом сиянии озера, которого я не видел, закружится дымок рейсового парохода. Горошина покатилась дальше, уменьшаясь, тая в неугомонном шепоте ржи.

Мы вышли на Большую дорогу — так в наших местах зовут почтовый тракт, ведущий из Вологды в Кириллов. Оводы стремглав перелетали через дорогу. Лопухи матери-мачехи, одетые в лохматые шубы, пыльные обочины, замшелые валуны хранили напряженное молчание. Мать покусывала острую стебелинку. Она смотрела прямо перед собой, смотрела, уставившись в одну точку. И мое дет-

ское сердце сжалось от ее отсутствующего взгляда, от этой неизъяснимой дорожной тоски и я, боясь разревевшись в голос, стал тянуть ее за руку:

— Ма-а-м... Ну, пойдем же скорее от них, мама!

Прошло много-много лет. Однажды судьба меня забросила в село-райцентр озерной округи. Зимние сумерки наступили быстро, и я, чтобы как-нибудь скоротать вечер, вышел из Дома колхозника, где бездумно валялся на железной койке, нещадно курил и слушал, как бухают в стол небритые лесозаготовители. Они забивали «козла».

Ветер хлопнул заиндевелой дверью, сыпанул мне в лицо колючей порошей. Поземка, змеясь и шурша, переползала через шоссе, которое поблескивало обледенелыми колеями. Мгновенно меня ослепило светом фар, — снежный вихрь ударил в грудь, подхватил полы пальто, напрягся, опал, — кузов автомашины мелькнул мимо, и снова передо мной замигали желтоватые огоньки домов.

Кому, скажите по совести, незнакомо чувство заброшенности, бесприютности, когда ты выходишь на зимнюю дорогу, поднимаешь воротник пальто, нахлобучиваешь шапку на глаза и месить — настойчиво и упрямо — серое месиво под ногами? Кого не манили чужие окна? Кто не мечтал о свете абажура, оранжевого, да пусть даже оранжевого, над чистой скатертью, о дымящемся стакане чаю, о теплой руке, легкой тебе на плечо?

Только в тот вечер все это было не для меня.

Я довольно долго брел вдоль шоссе, отворачивая лицо от встречного ветра. Наконец, за селом дорогу мне загородило кирпичное зданье, увенчанное куполообразной крышей. Дверь оказалась приоткрытой, и я машинально взялся за скобу. В фойе — при зыбком свете фонаря — за стойкой громоздилась толстая буфетчица. Когда я стал

страхивать шапкой снег, она, укутанная до самых глаз шалью, полусонно поглядела на меня. Я осторожно открыл дверь в зрительный зал. Впереди чернели головы зрителей, дальше — прямо на сцене — стояли керосиновые лампы. Было холодновато и как-то знобко в этой гулкой темноте. Под звуки расстроенного фортепьяно две легких, как будто прозрачных, фигурки выполняли гимнастические упражнения. «Э-э, да это концерт художественной самодеятельности», — догадался я. Девушки в черном трико, — глядя на них, я ощутил озноб, — неловко поклонились и вприскокку убежали со сцены.

Долговязый парень, в ковбойке и широком, как римский меч, галстуке, вынес стул, что-то поострил для порядка, зрители опять-таки для порядка посмеялись сдержанно и добродушно, — и все были довольны, потому что честно соблюдали правила хорошей игры.

В общем мне стало нестерпимо скучно, и я откровенно жалел, что забрел в этот полупустой зал, что сижу здесь, а мог бы еще позвонить в райком и вырвать, несмотря ни на что, машину до Вологды. Но лень и безразличие охватили меня, и я сидел, безучастно уставившись на сцену, ожидая конца сельского действия.

— Учетчица совхоза «Красное знамя» Евдокия Соколёнова, — с преувеличенным значением объявил долговязый парень. Баянист поставил на квадратные колени квадратный баян и повернул стриженую голову в ожидании.

И тут в неверном свете керосиновых ламп возникла тонюсенькая, ладная девушка. Ее простенькое платьице, ее газовая косынка, ее кудряшки шестимесячной завивки, — все бесповоротно, с первого взгляда, располагало к ней. Она передохнула от волнения и негромко вымолвила: «Романс Гурилева...» Ей не дали договорить: зал дрогнул, заплескался, словно осинник под напором ветра.

И все-таки не без внутренней усмешки я смотрел на ее скрытое волнение. Наивный кружевной воротничок, наглухо охватывающий горло, поднял из глубины души густой, щемящий, вибрирующий голос великой русской актрисы. Черные крутящиеся диски раскручивались, разворачивались в гигантскую спираль, опоясывали землю и разносили этот властный голос по всему белому свету.

«Ах, Соколёна, Соколёна, — думал я, опершись подбородком на руки, чтобы удобнее было слушать. — Знаешь ли ты, как далека звезда, лучи которой ненароком залетели в твое село? Можешь ли ты представить себе, как беспредельно искусство и как мучительна дорога к вершинам его? Это большая, самая большая в жизни дорога и нет ей конца ни за ближним бором, ни за дальней дорогой».

Но песня уже родилась, — пришла без моего зова, без моего ведома откуда-то из глубины сцены. Голос Соколёны был высок и прозрачен, он был похож на серебристую полевую тропинку, которая волнисто бежит по бороздам, мерцает васильками и зовет, зовет тебя за собою. Я закрыл глаза: передо мной качнулись спелые колосья ржи, пахло сухим зноем, мелькнула молодая улыбка мамы и покатилась, покатилась звонкая горошина, разбиваясь на хрустальные осколки, переливаясь на разные голоса.

Мне стало грустно, словно я в чем-то обездолил себя, прошел мимо чего-то неповторимого, не понял, не угадал, не испил полными глотками жизненной отрады, горьковатой, как березовый сок в рощах детства, где так-то выщелкивали, так-то выпевали молодые соловьи.

Соколёна кончила петь. Я не сразу открыл глаза: мне было неловко наворачнувшихся на ресницы слез.

Ах, как досадно, как все-таки досадно, что лишь однажды я слышал колокольцы почтовой тройки.

— Дядь Вась, а дядь Вась! — молоденькая почтальонша Нюрка во весь дух бежала к озеру. — Ты на сенокос, а дядя Вася?

Василий Никитич хотел обернуться, но тяжелая станина подвесного мотора мешала ему. Он подждал Нюрку, пригнув, словно захомутанная лошадь, голову и глядя прямо перед собой.

— Чего тебе?

Запыхавшаяся Нюрка не в силах была вымолвить ни одного слова и только трясла перед ним какой-то бумажкой.

— Ну, чего же тебе? — поторопил ее Василий Никитич.

— Телеграмма Отшенкову. Может, думаю, что срочное, — отдышавшись, сказала почтальонша. — А у них, — как на грех, дома никого нет. Уж я в загороду бегала... Нигде нет бабки Василисы, а хозяйка-то, слышь, в город уехала...

— Давай, — коротко оборвал ее Василий Никитич и, по-прежнему глядя в землю, сунул бумажку в карман ватника.

Нюрка постояла на тропе, посмотрела, как грузно ступал Никитич, шаркая отворотами резиновых сапог, повернулась и медленно пошла обратно.

Потом еще раз обернулась. Лодка Никитича покачивалась на волнах, нехотя отдаляясь от берега. Сам он размашисто дергал ремень завода.

Нюрка успокоилась и вприпрыжку побежала к деревне.

Мотор взревел. Никитич, сбавив газ, еще потоптался на корме, потом уселся на заднюю скамейку и, выписав большую плавную дугу, направился в заозерье.

Время от времени левой рукой он нажимал на резиновый шланг, подкачивая бензин, а правой крепко держал рукоятку мотора. Смотрел он поверх задранного носа лодки туда, где за яркой голубизной дымилась зелень кустарника.

По обе стороны горизонта зелень синела, терялась в летнем мареве и где-то у края земли повисала в воздухе слабым многоточьем. От буйства воды и солнца у приезжего человека, наверно, закружилась бы голова. Но Никитич с детства привык к озеру. Он не представлял себе, как можно жить без этого ослепительного сияния голубой воды, без этих неподвижных облаков, без этой знакомой и все-таки неизменно влекущей к себе дымки далекого берега.

Совсем другое волновало Никитича. Лодку подгонял попутный ветер, и она плавно взбиралась на волну и также плавно с нее соскальзывала. Этот попутный ветер и огорчал Никитича больше всего. Он знал: лодка обгоняет волну, и, как машина, идущая на подъем, напрягается до предела, так и лодка, взбираясь на спины валов, дрожит от напряжения. Никитич боялся пережечь бензин: трудновато нынче стало с горючим. Все теперь обзавелись моторами, всем подавай то бензин, то масло.

Чтобы как-то отвлечься от досадных размышлений, Никитич стал думать о сенокосе, о мужиках, которые остались на пожне. Он вспомнил Отшенкова, многодетного, работающего соседа, его тихий нрав, его неуверенную улыбку. Улыбался Отшенков редко, скупно поблескивая металлической пластиной. Свои зубы он потерял в блокаду под Ленинградом и столько же лет не мог привыкнуть к вставным. Никитичу стало жаль мужика. Везет он ему невесть что в телеграмме. И дернуло его черт остановиться на берегу. Да эта оглашенная девка вопила так, что мертвый бы ее услышал.

Никитич полез за папиросами и вместе со спичками достал из кармана вдвое сложенную бумажку. Не раздумывая много, он развернул ее и прочитал: «Все пять на пять — Оля».

— Тьфу ты, дьявол, — Никитич даже сплюнул в сердцах. Ведь надо же такими глупостями отнимать у людей время. Это из какой же немыслимой дали отстучала Олька дурацкую телеграмму? И что в ней такого? Белиберда какая-то. Пошла нынче молодежь, нечего сказать... Все с вывертами, с фокусами разными, с фортелями.

Насупясь, Никитич запихнул телеграмму обратно в карман, но успокоиться уже не мог. Воспитали, называется, смену вырастили. Давно ли эта Олька по двору бегала, сверкая ягодицами — платьишко продувное, застиранное, сама, как галчонок, востроносая, чернявая. А теперь фу-ты, ну-ты «все пять на пять». Семка у него такой же: «Шлю пламенный сахалинский привет». Нет бы отцу прислал на пол-литра. А то пламенный привет. Да и то подумать, — без всякого перехода решил Никитич, — служба у парня трудная; добро хоть родителей не забывает, на каждый праздник поклон шлет. Да и Олюшка-девка тоже ничего. Бедовая девка. Бывало встанет до свету Никитич мерехки посмотреть, а она с повети голову свесила, утренний свет на книжку ловит. Читает.

Прибойная волна сильно гнала лодку к берегу. Отмель была пустыня, только на камнях, выставивших из воды серые хребтины, сидели чайки.

Никитич сбавил газ — лодка, прошуршав днищем по песку, ткнулась в берег. Пока Никитич выволакивал ее из озера, она вырывалась из рук, моталась из стороны в сторону, как необъезженный конь.

Оставляя на песке рубчатые следы, Никитич прошел вдоль отмели, перевалил за песчаный бугор, вышел на

пожню. Под лучами закатного солнца нежно желтели ольховые кусты, истекали охрой стога сена.

И все вместе и каждая былинка в отдельности были какими-то особенно зримыми, отчетливыми, такими, что хотелось рукой потрогать колючую, щетинистую стерню.

Недалеко за кустами стрекотала сенокосилка, слышался конский храп.

— Отшенков! — позвал соседа Никитич. — Поди сюда!

Тот, прикрикнув на лошадей, вышел из-за куста и направился к Никитичу, спотыкаясь о кочки, на ходу вытирая рубахой вспотевшее лицо.

— Телеграмма тебе. Нюрка велела передать.

На пожне, в медно-красном озарении сошлись две тени, — одна неуклюжая, грузная — Никитича, другая — поменьше, потоньше — Отшенкова. Водитель сенокосилки бережно развернул помятый лист, прочитал телеграмму, вскинул глаза на Никитича, не веря прочитанному, снова пробежал короткую строчку. И вдруг его загорелое, потное лицо беспомощно дрогнуло и стало расплываться в такой безудержной, такой произвольной улыбке, что, глядя на него, и Никитич осклабился широко и добродушно.

— Ну, чего там?

— Эх, — с досадой, уже оправившись, сказал Отшенков, — вот жалость, маленькую-то не прихватил.

— По какому еще поводу?

— Да от Олюшки телеграмма-то, от старшбй дочери. Все пять экзаменов на пятерки сдала. В институт девка поступила, — помедлил и будучи не в силах сдержать застарелой робости и волнения, твердо добавил: — в Москву.

Из-за песчаного бугра с криком поднялись чайки. Они взлетели стаяй, но вот одна, сильно взмахнув крылами,

метнулась в сторону, стала подниматься выше, выше над желтозеленой кипенью ольхи, над пожней, выстриженной ровными рядами, над фигурками двух мужиков, стоящих друг перед другом, над озерной ширью пока, наконец, не скрылась, не растаяла яркой снежинкой в синеве неба.

МАЛЬЧИК

НАЧАЛЬНИК партии был хмур и неразговорчив: третий раз за неделю приходилось менять табор, а значит терять целый день. Высветленный солнцем, сладковатый от дурмана богульника, сонный от безветрия и августовской теплыни, этот день дразнил его бесцельным великолепием и обещал спокойный, тихий закат. А ведь здесь, на Севере, как бывает: с утра — солнце, в полдень, глядишь, затянуло небо облаками, а к вечеру наползет такая — невозможно даже высказать — такая мразь, беспросветная сырость, что, кажется, не будет ей ни конца, ни краю. Небо опустится на лес, из лесу подымается туман и, соединившись вместе, они обволокут округу густой мглой, заполнят пространство дождевой пылью. Ветер подхватит изморось, захлещет по озерам, по мокрым бочкам валунов, по стволам сосен, забьет глаза, нитки сухой не оставит. Вот тогда и поработай на лесных выделках. А сейчас, когда надо перебираться на новое место, откуда что и взялось — солнце сияет во всю, валуны теплы и шершавы, богульники пышны, а заозерные леса так заманчивы, что невозможно отвести глаз.

Чтобы не растревлять себя и побороть глухое раздражение, начальник стал следить за погрузкой. Рабочие спешили. Они торопливо и небрежно собирали таборные пожитки, снуя по береговому откосу.

Одна за другой, качнувшись, запузырив брезентом, рушились палатки. Их сворачивали вместе с веревочными таями, с колышками, осклизшими от сырого мха, с коробками из-под гильз, набитыми во внутренние карманы.

Спальные мешки спешно засовывали в чехлы и, перекидывая тюки из рук в руки, бросали на днище алюминиевой моторки. Прокопченные кастрюли, ведра, тарелки с грохотом складывали в нос рыбацкой лодки, которую таскали на буксире за моторкой. Постепенно табор пустел. Обнажился примятый, но еще зеленый настил под днищами палаток, осиротел костер, открылись стволы сосен, — на них висели ватники, полотенца и зеркальцы для бритья.

Тонкая струйка дыма, вьющаяся над костром, придавала берегу вид заброшенный и печальный.

Наконец-то лодки, доверху груженные скарбом и людьми, тронулись по мелкой воде. Начальник безучастно сторбился и уставился прямо перед собой. Он ни разу не оглянулся назад, хотя другие с каким-то щемящим чувством смотрели, как ширилась голубая полоска воды, как отдалялась и отдалялась от них сосна, поваленная в воду буреломом, — место недавнего приюта.

С дымком первой папиросы это чувство развеялось, растаяло в дреме августовского полдня. Оно мимоходом возникло как будто для того, чтобы сильнее оттенить жажду новизны и сладость дорожного ничегонеделанья, которое постепенно схватывало сидевших в лодке. Путь предстоял дальний, и рабочие устраивались поуютнее среди ведер, ящиков, мешков и прочего лагерного имущества.

— А Мальчика-то забыли?! — удивленно воскликнул самый молодой из рабочих.

Действительно, по берегу мелькало желтое пятно. Оно исчезло и возникало вновь, словно закатное солнце, которое опускается в темный лес и временами врывается в окна вагона.

Сидевшие в рыбацкой лодке разом обернулись. Выскочившая на увалы, спрыгивая к воде, за ними бежал таборный пес. Иногда он скрывался в желтых шапках богульника, иногда появлялся на отмели, и тогда было видно, как велики его скачки, как сильно вытянуто в полете тело. Несколько раз он забегал в воду, подзывая таким манером людей, но лодки уходили от него настойчиво и неуклонно, и желтое пятно вновь начинало отчаянно мелькать в зеленовато-сизой мгле берега.

Пес был приبلудным. Вернее, парни из табора прихватили его где-то около Устья, втащили в кузов автомашины и привезли на озеро. Пес привязался к людям, охотно откликался на любую кличку и не выделял никого особенно из партии. Прозвали его, не мудрствуя лукаво, Мальчиком. Старые хозяева, судя по всему, собаку нещадно били: при резком движении пес пригибался к земле, втягивал морду между лап и торопливо — задом-задом — уползал в болотные кочки. Его никто не баловал, никто не ласкал, но и никто не обижал. Жил он в таборе сам по себе.

Любимым занятием Мальчика было довольно-таки бесцельное рысканье по лесу: внезапно появлялся он за дальних выделах, вертелся под ногами, мешал рабочим, а потом надолго исчезал в чахлам мелколесье. Он принадлежал всем и никому в отдельности, как впрочем и многое из таборного имущества. И отношение к нему было таким же временным, как к палаткам, топорам, рулеткам, даже больше — ко всей этой непостоянной кочевой жизни, которая здесь, в северных лесах, была одна, а где-то там, за озерами, болотами, реками, совсем другая.

В одном месте озеро образовало широкую горловину и моторка, оторвавшись от правого берега, пошла наискосок к левому. Пес добежал до кромки воды, кинулся в нее с разбега, вернулся, выскочил на откос, потом опять сбегал к воде. Он был в затруднении, не зная, куда повернет моторка снова. Но отчаянье побороло в нем нерешительность и через миг острые уши уже торчали из воды. Мальчику надо было спешить, чтобы не потерять людей из виду. Догоняя лодки по берегу, он постоянно держал их на примете. В воде пес был беспомощен: он отставал от них, петляющих среди заливов и проток. Бешено работая лапами, Мальчик выплывал на середину озера, — по его разумению так было вернее, так он мог дольше видеть людей.

Поднялась легкая зыбь, и вскоре острые уши собаки пропали в голубовато-свинцовой дали.

Начальник, сгорбившись у руля, был безмолвен и безучастен ко всему происходящему. Никто не решился напомнить ему про пса, перекричать протяженное гудение мотора.

На рыбацкой лодке кто-то откинулся на мешки, закрыв глаза от солнца кепкой, кто-то закурил, и все как будто забыли про торчащие из воды темные собачьи уши. Но по тому, как словно бы ненароком каждый оглядывался назад, было очевидно, что никто ничего не забыл, но только все не знали, что делать в перегруженной людьми и таборными пожитками лодке.

— А ведь Мальчик-то выплыл! — обрадованно крикнул все тот же самый молодой из партии.

— Где? Где? — рабочие оживились, разом смахнули притворную дремоту.

Теперь уже не по правому, а по левому берегу замелькало желтое солнечное пятнышко. Оно постепенно приближалось, росло, но возле длинной отмели моторка

внезапно развернулась и пошла наперерез волне к далекому заозерью. Все помрачнели, насупились и с тягостным чувством стали глядеть, как пес выскочил на отмель и неподвижно встал у воды. Моторка уходила в заозерье, уходила, чтобы никогда не возвращаться на старый табор.

Песчаная отмель истончалась, сливалась с зелеными наплывами леса и готова была вот-вот исчезнуть совсем, когда с берега донесся протяжный вой. Он был суров и требователен этот вой, но не срывался на визг, он оглашал озеро трубным воплем, и жутко и нестерпимо стыдно становилось людям. Кто мог подумать, что веселый, разбитной, трусоватый малый — таборный пес способен с такой силой тосковать и рваться к людям, которые не то что ласкали или привечали его, — где уж там, хотя бы не били, не гнали от себя.

Но в успокоительном пении мотора, в сладком почмокивании волн о борта лодки смолк вой оставленного на отмели пса.

Снова по крутому откосу, соскальзывая и падая, люди таскали тюки и ящики. Снова весело трещал сухим валежником костер. Снова одна за другой вздымались верхá палаток и звенели топоры от ударов по колышкам. Но самый молодой и кучерявый уже выгребался в озеро, часто взмахивая веслами, как продолжением загорелых мукулистых рук.

Только к вечеру, когда верхушки сосен прозрачной сеткой четко впечатались в багряное, огромное солнце, на озере послышался усталый, победный скрип его уключин.

МАСТЕРА



СЧАСТЬЕ ХУДОЖНИКА

У МАЯКОВСКОГО есть одно любопытное признание: поездки по стране, — замечал поэт, — встречи с людьми заменяют ему чтение книг. В поисках своей творческой удачи я не раз испытывал нечто подобное. Так, например, в Петрозаводске художник и искусствовед Василий Михайлович Агапов, человек подвижнической биографии, много часов подряд рассказывал мне о знаменитых заонежских вышивках «тамбуром по филе», о пудожских и вепских рукодельницах, об инкрустациях по карельской березе, выполненных старыми мастерами А. С. Гайдиным из Подмозера и С. И. Сиявиным из деревни Дорохово. Ни одна книга по народным ремеслам, не дала бы мне столько, сколько дал рассказ старого художника и большого знатока карельского прикладного искусства.

— Почему так прекрасны заонежские вышивки «тамбуром по филе»? — спрашивал он меня и тут же отвечал. — Да потому что домотканое льняное полотно похоже по колориту на тусклое сияние северных снегов и «досюльный шов», как говорят мастерицы-вышивальщицы, делает необычайно выпуклым, рельефным весь рисунок. Так выпукла лыжня на снеговом насте, когда снег уже подтаял и был вновь прихвачен мартовскими заморозками. Позднее, разглядывая заонежские вышивки в Кижском музее-заповеднике, в том числе и изумительные художественные панно по мотивам «Калевалы», которые были

изготовлены по эскизам В. М. Агапова, я удивлялся меткости этого образа. Действительно, выпуклый шов напоминал охотничью стежку на тускловатых мартовских снегах Заонежья.

Художественное панно в Кижях еще раз показало мне, что поэтический мир «Калевалы» безбрежен. Этот мир дает возможность художникам самых разнообразных направлений и дарований испробовать свои силы, внести посильную лепту в пропаганду великого эпоса. В Карелии проводились и проводятся конкурсы на лучшее графическое оформление «Калевалы». Но сейчас мне бы хотелось рассказать об одном «внеконкурсном» вторжении в сказочную страну старого песнопевца Вяйнямейнена.

На второй выставке «Советская Россия» среди тысячи трехсот работ, помнится мне, немало зрителей толпилось у листов, подписанных мало кому известной фамилией Т. Юфа. Эти листы выделялись особой напряженностью и вместе с тем ажурностью рисунка, мягкими пастельными тонами—голубоватыми, блекло-зелеными, розоватыми, серебристо-серыми, резким своеобразием почерка художника. Зрители невольно замедляли шаг у этих листов, иллюстрирующих карельские руны. Но самое главное, пожалуй, было не в технике исполнения, а в том отчетливом ощущении сказочности, фантастичности мира героев Калевалы, от которого мы поотвыкли в других строго реалистических рисунках. Иллюстрации к «Калевале» были насыщены проникновенным лиризмом, они покоряли искренностью, доверчивостью художника: а ведь эти качества, эти свойства в искусстве невозможно подменить или заменить самым изощренным профессионализмом. Имя Т. Юфа запомнилось, и когда я приехал в Петрозаводск,

то первым делом постарался разыскать иллюстратора к «Калевале». У меня не было сомнения, что этот художник-график родился на севере, что его работы — сплав детских впечатлений и зрелых раздумий над эпосом. Я оказался прав и неправ. Тамара Юфа родилась и выросла в срединной России, в нынешней Липецкой области. В Карелию она попала по распределению как молодой специалист — выпускник Ленинградского художественного училища. Из трех названий — Кемь, Беломорск, Ладва — Тамаре понравилось по звучанию название Ладва, и она поехала в далекое поморское село учить деревенских ребятшек рисованию. Такова фактическая сторона дела. Но прав я оказался в другом, в том, что мир народной сказочности был всегда близок Тамаре Юфе, что она вначале инстинктивно, а затем осознанно тянулась к этому прекрасному миру.

...Деревня с жутковатым названием Волчья. Голодное, тяжкое время: война. Тамара живет у бабушки. Вечерами, когда за плотно занавешенными окнами раздавался посвист метели да редкие винтовочные выстрелы, бабушка начинала рассказывать сказки. От этих сказок замирало сердце. А по утрам хотелось как-то рассказать об этих сказках самой. Первые рисунки где попало, — углем на печке, на случайном клочке бумаги, на фанерном листе. Затем Задонск, школа. Первый экзамен в Елецком художественном училище — и двойка по живописи: в деревне некому было подсказать, что краски можно смешивать. Но в училище все-таки удалось поступить, а после того, как училище в Елечке было расформировано, заканчивать учебу довелось в Ленинграде. Ну, а потом Ладва, где на уроках рисования Тамара объясняла ребятишкам, что краски смешиваются, что палитра художника может быть богатой и неповторимой. Снова длинные метельные вечера, — и увлечение «Калевалой». Многие руны здесь,

в Ладве, зазвучали неотступно, запоминались наизусть, перечитывались десятки раз. Высоченные деревянные дома, синеющая кромка лесов, бескрайняя снежная пустыня, — все это сближало с карельским эпосом, с народными сказками и песнями Беломорья. На праздники хозяйки иногда доставали из сундуков старинные наряды, и Тамара с любопытством разглядывала, запоминала затейливые узоры вышивок и кружев, покрой и цвет нарядов. Так отвлеченный, и, казалось бы, далекий мир героев Калевалы обретал художественную плоть, становился второй жизнью молодой художницы.

Зональная выставка в Архангельске — и первый отклик в печати: «Юфа одарена редким чувством поэтического перевоплощения мира», она «поразила всех неожиданным виденьем Севера, своей неповторимой художественной манерой». С годами таких отзывов становилось больше, но жилось и работалось трудновато, впрочем, как и ныне, когда пришло признание и появилась в Петрозаводске мастерская.

Летом 1966 года на выставке молодых художников Карелии я снова встретился с листами Тамары Юфы. Ее «Айна» — одна из самых чистых, самых поэтических созданий «Калевалы» — удалась ей не меньше, чем образ Ярославны из «Слова о полку Игореве». И снова я испытал неудержимое желание подольше постоять у этих листов.

Айна вся была как бы соткана из легких замысловатых, текучих линий и только ее лицо, ее губы, ее печальные глаза были удивительно знакомы, говорили мне о том, что такая девушка есть, должна существовать на свете. А ведь в этом-то и заключается главная идея образа сестрицы Еукахайнена, ставшей таинственной серебристой рыбкой и навсегда скрывшейся в волнах от старого Вяйямейнена, ее неудачного жениха.

Работа Тамары Юфы по мотивам «Калевалы» еще далеко и далеко не закончена. Художница — молода, как молода и всегда будет молода народная поэзия, к которой она имела счастье приобщиться благодаря своему таланту, своему незаурядному мастерству.

КИЖИ

КИЖИ ныне прославлены. Кижы знамениты. Кижский музей-заповедник называют «островом сокровищ», издают о нем фотоальбомы, серии цветных открыток, выпускают в продажу памятные сувениры. На дорогах Карелии то и дело встречаются рекламные щиты: «Кижы — уникальный архитектурный ансамбль. Посетите Кижы».

Несколько раз в день от причалов Петрозаводска отходят белоснежные «Метеоры», юркпе речные трамвайчики — и сотни туристов высыпают на зеленую луговину перед оградой Кижского погоста. Здесь их встречают опытные экскурсоводы и, не дав опомниться, внушают им, что перед ними замечательный памятник деревянной архитектуры, образец народного зодчества, что высота главной Преображенской церкви — 37 метров, иначе говоря, высота двенадцатиэтажного дома, что в основе церкви лежит восьмигранный сруб с четырьмя прирубамн, на сруб поставлены еще два восьмерика, что вытянутые полуцилиндры кровель — это бочки, что на бочках расположены 22 главы, крытые лемехом — тонкими осиновыми пластинами. И многое другое внушают ученые экскурсоводы своей менее ученой экскурсантской пастве. Четко, деловито, как говорится, в стиле века.

Покаюсь, стиль этот я не то чтобы не принял совсем, нет, разумом я его принимал, осознавал его целесообразность, даже необходимость, но вот что касается души...

В общем я не уехал из Кижей ни в этот день, ни на следующий. На противоположном берегу, перебравшись через пролив, я разыскал Алексея Ивановича Авдышева, чей «Кижский альбом» поразил меня еще в Москве. Жил Авдышев вместе с женой Валентиной Михайловной — тоже художницей — в просторной деревенской избе и встретил меня по-деревенски радушно, приветливо.

Естественно, мы разговорились о том, какое впечатление на меня произвели Кижы. Сам Алексей Иванович — старожила этих мест. Он знает каждый камень, каждую отмель в Кижях, рыбачит ранней весной и поздней осенью и пишет «картинки», как иронически говорит о своей работе. Теперь к Авдышеву пришел заслуженный успех. Но успех его линогравюр — этой светлой, сокровенной лирики в черно-белых тонах — объясняется не только талантливостью и трудолюбием художника. Когда мы вышли на высокое деревянное крыльцо, то в глаза бросился плоский остров Кижы, дебаркадер, моторки, лодки, нырявшие в озерных волнах, а, главное, — храм Преображения и соседние с ним колокольня и Покровская церковь, которые, действительно, составляют с храмом единый ансамбль.

Зная, как много художников пытается выразить резцом — на линолиуме и дереве, кистью — на холсте и бумаге нечто колдовское, как утверждают знатоки, присутствующее Кижскому погосту, я думал раньше, что Алексею Авдышеву просто повезло. Но здесь, присев вместе с хозяином дома на перила крыльца, я понял, что за этим везением по существу стоит вся сознательная жизнь художника. Чтобы так «повезло», надо было не просто часто бывать в Заонежьи, но и поселиться здесь, найти себя в зрелые годы не в чем-нибудь другом, а в том, что с детства было перед глазами, что всегда любил неосознанной любовью, к чему тянулся не проснувшимся еще для

творческого деяния сердцем. Именно с детских лет влюбился в Заонежье Алексей Авдышев.

— Однако, как вам Кижж? — повторил он вопрос.

Я попробовал отшутиться, но потом признался, что ожидал чего-то большего.

Когда с верхней палубы «Метеора» впереди замаячил погост, мне он показался странно-хрупким, вроде старинной резной этажерки, нереальным, даже каким-то ненужным среди необозримой россыпи каменистых островов, вспененных вод, бездонного утреннего неба.

— Не так надо осмотреть Кижж, как вы смотрели, на ходу, вполглаза, — с укором заметил мне Алексей Иванович. — Надо видеть их при восходе солнца и при закате, при вечернем тумане и нудном дожде, при тихом месяце и шестибальном шторме. Попробуйте, проплывите вокруг острова, поворачиваясь, как подсолнух на солнце, на Кижжский погост, — и тогда вы, может быть, — он повторил в раздумии, — может быть, поймете, что такое Кижж!

Я с сомнением покачал головой, и мы оба, по молчаливому согласию, больше не возвращались к этому разговору.

...Случилось так, что на верткой, утлой лодчонке, взятой напрокат на турбазе, я выехал порыбачить в открытое озеро за деревню Ольхино. К юго-западу от меня возвышалась церковь Преображенья. На плоском, слегка холмистом острове она невольно приковывала взгляд. И я стал машинально взглядывать на нее всякий раз, когда мою верткую ладью разворачивало ветром к востоку. И чем чаще я взглядывал на нее, высившуюся на дальнем краю острова, тем мучительнее сознавал, что она все-таки близка мне, что напоминала она что-то неуволимо зна-

комое, виденное множество раз и, вместе с тем, небывало величавое, вечное. Погост четко врубленный в небосвод не казался, как прежде, хрупким, ненужным среди этой глуби и шири, он вписывался в темнеющую воду и в блекло-желтоватый край небес органично и просто, как вписывается... Нет, я не мог найти сравнения, хотя чувствовал, что оно где-то рядом, где-то вблизи. Как вписывается — нашел! — как вписывается шатровая ель, столетняя ель, краса и гордость северных лесов. Да, именно так, как шатровая ель, поднимающая уступы ветвей в желтый закат. И народные умельцы, ставившие эту церковь и мастер Нестор, который, по преданию, окончив строительство, бросил топор в Онего со словами: «Не было, нет и не будет больше такой!» — все они, безмянные плотники и мастерские, выросли в заонежских лесах, впитали с молоком матери любовь к лесам и к многовековым красавицам-елям. Внутренним чувствам, интуицией истинных художников они шли к этому сходству, догадывались о нем, может быть, добивались его, чтобы фантастически-стройный многоглавый деревянный собор контурами своими не нарушал очарования закатов и восходов, темных лесных дебрей и светлых вод, а дополнял бы красоту каменной, неласковой и все-таки щедрой к труженику матери-земли.

...Чтобы вернуться к себе домой, мне надо было или обогнуть оконечность острова или, оставив на время лодку в кустах, пройти на турбазу пешком. Выдохнувшись с непривычки на веслах, я решил идти пешком. Дорога шла по гребню острова, стесненная с двух сторон неровными грядами камней. Вправо и влево от меня сбегали к воде пологие склоны. Эти склоны были тоже разбиты на квадраты оградами из крупных и мелких ва-

лунов. Солнце тихо сгорало в густеющей мгле. Погост остался у меня за спиной. Я не видел его, но чувствовал его, потому что нес в себе радостное для меня открытие. Я понял, по-своему понял мастерство строителей церкви Преображенья, и это понимание сделало меня богаче, чем прежде. Каменная гряда неотступно бежала сбоку, и я смотрел на нее и размышлял теперь совсем о другом. Не доисторические ледники нагромодили эту гряду камней, нет, она была вся выложена человеческими руками! Из поколения в поколение, из рода в род крестьяне острова Кижки, уходя с луговины или клочка пашни, уносили с собой камни и складывали их в груды, — груды росли, ширились, пока, наконец, не образовали этот нескончаемый гранитный лабиринт. Простые булыжники, серые голышки, о которые я спотыкался в августовских сумерках, они поднимали и относили в сторону, — не им самим, так их детям, внукам, правнукам этот камень мог поломать остро-заточенную косу, повредить копыто коня, ногу человека. Эти гранитные лабиринты не попали ни в один путеводитель, ни в один фотоальбом. Но не будь их, не будь этих вечных памятников крестьянскому труду и терпению, — не было бы Кижей, не было бы многовековой лесной сказки, срубленной из дерева и явившей миру, как щедро талантлив русский человек.

Вот почему теперь я говорю вместе со всеми: «Кижки — уникальный архитектурный ансамбль. Посетите Кижки». Только, пожалуйста, прислушайтесь к совету моего друга-художника Алексея Авдышева и научитесь смотреть не в полглаза, а во все глаза на этот остров сокровищ.

НА Железнодорожной улице, недалеко от речки Золотухи, жил ясноглазый, худощавый парнишка. Бегал он в соседнюю школу первой ступени, катался на санках с обрывов Золотухи, а вечерами всегда что-нибудь рисовал или лепил из глины, которую приносил все с той же речки Золотухи и оттаивал у себя в комнате. Мать была неизменно добра к нему и не ругала мальчика за то, что штаны и рубашка его всегда были в пятнах краски, в подтеках глины.

Так и в тот памятный для него вечер он долго возился с плотным комком, прикидывал так и эдак, отходил от фанерного листа, служившего ему станком, снова подходил к нему; неудовлетворенный, сминал начатое и принимался лепить все заново. А когда просушил свое произведение да еще раскрасил его, то втайне был обрадован своему упорству. Получилось!

Крохотный, лысый, как лунь, старичок стоял перед ним, опираясь на суковатую березовую палку. Розовая рубашка была перехвачена пояском, синие, полуспущенные порты и лопатки дополняли его наряд. Забавно скосолавившись, старичок стоял перед юным художником почти «всамделешным» деревенским дедом, но было в его облике и что-то лукавое, добродушное, как были лукавы и добродушны поверья про доброго гуменника и смешного домового. Эти поверья мальчик не раз слышал на Вологодчине, в деревне своего отца, куда он приезжал погостить летом.

Через сорок лет, в 1964 году, известный советский скульптор, член-корреспондент Академии художеств СССР Сергей Михайлович Орлов перевел «Старичка» в фарфор. Первая полудетская работа была дорога ему и как память о родине и как вещь, которая определила его

судьбу художника и скульптора-монументалиста. Но об этом надо рассказать особо.

Восемнадцатилетним юношей приехал Сергей Орлов в Москву.

Привез он с собою с десятков акварелей, рисунков, набросков и несколько статуэток из глины, в том числе и «Старичка». Мечтал он попасть в один из художественных институтов Москвы, но мечтам его не было суждено осуществиться. И вот Сергей Орлов переступил порог Музея керамики и фарфора, который был в те годы в столице.

Встретил его известнейший собиратель произведений прикладного искусства и малой пластики Алексей Викторович Морозов, бывший фабрикант, родственник знаменитого Саввы Морозова, а в 1929 году просто служащий музея.

Сергей Орлов показал ему рисунки и акварели, — старик довольно бегло пробежал их глазами, отложил в сторону и выжидательно посмотрел на посетителя. Вот тогда-то самодеятельный художник, смущаясь и уже окончательно теряя надежду на какие-либо перемены в своей судьбе, извлек из ветоши «Старичка».

Алексей Викторович довольно долго рассматривал глиняную статуэтку, поворачивал ее в разные стороны, казалось бы, недовольно и презрительно шевеля губами, и вдруг закричал на сотрудников музея, находившихся в этой же комнате:

— Какого черта вы все ищете? Куда вы смотрите, ценители? К нам нагрянул талантище милостью божьей, а вы все ездите за тридевять земель, все сетуете, что оскудела земля русская самородками... — Смотрите! — и Морозов торжествующе поднял статуэтку.

Так паровозный слесарь Сергей Орлов стал одним из сотрудников Музея керамики и фарфора.

Если окинуть все созданное за сорок лет творческой деятельности Сергеем Михайловичем Орловым, то нельзя не поразиться, сколь разнообразна эта истинно русская душа. В его акварелях, в ленинградских пейзажах — спокойствие, мягкость, задушевность. Художник выбирает для рисунков те серебристые, «перламутровые» дни лета и осени, когда светится все — и мокрый асфальт, и мокрые крыши домов, и гладь ленинградских каналов, и даль огромного города, как бы пронизанного светлыми капельками дождя. Есть в акварелях что-то от спокойного, светлого блеска фарфора — излюбленного материала, в который воплощает свои замыслы скульптор Орлов.

Наоборот, в его пластике, в его фаянсе и фарфоре — взрывы темперамента и буйство фантазии, этакая былинная удаль, когда силушка по жилушкам переливается, когда от избытка этой силы художник может и поозоровать, может и посмеяться добродушно, может и задуматься всерьез. Его фантазии нет предела. Да и как же иначе: ведь скульптор ставит перед собою задачу, сложнее которой и выдумать трудно. Он хочет в форме и в цвете воплотить русскую волшебную сказку; он стремится сделать наглядными, осязаемыми, поражающими наше воображение те образы, которые мы впитали с молоком матери, которые окружали нас с детских лет. Здесь и «Орущий лешачок», и «Маленький гудик», и «Зеленая страшила», и «Бубик», и «Иван-царевич на сером волке», и «Ведьма в полете», и несравненный мир пушкинских сказок, — десятки, а если собрать по музеям нашей страны и зарубежных стран, то сотни работ — результат многолетних поисков, находок, ошибок, открытий и заблуждений.

В русской народной сказке Сергей Орлов воспринял прежде всего простодушность и добросердечие. В сказках

добро обычно сталкивается со злом, и добро всегда побеждает зло. В отдельных случаях скульптор сталкивает зло со злом: такова его фантастическая шутка «Драка». 1946 год.» Но «зло» Сергея Орлова вызывает чуть приметную улыбку. Известный мастер похож на того деревенского сказочника, который, собрав вокруг себя соседскую ребятню, рассказывает небылицы, завораживает слушателей неторопливым говорком, пугает их нарочитым шепотом, а сам-то знает, что жизнь бывает куда как пострашнее этих дедовских сказок, сам-то все неприметно посмеивается или, может, лукаво щурится, видя широко раскрытые глаза и рты притихшей детворы. В замысловатых фантазиях Сергея Орлова много этой едва уловимой улыбки, этой лукавинки. Да и как же иначе. Черпая образы и сюжеты из неиссякаемой сокровищницы народной мудрости, из сказочных кладезей народной поэзии, он остается современным художником, нашим собратом. Мало кто из дошкольников ныне поверит в существование лесных духов и чудищ: в век электроники и покорения космоса научная фантастика стала захватывающим чтением как для детей, так и для взрослых. Человеческий разум срывает покровы с тайн природы, лишает тот же северный лес его древнего, почти языческого очарования, — на любой поляне теперь можно услышать шум трелевочных тракторов, а в небе — рокот почтовых и рейсовых самолетов. Но лишаться в искусстве всей этой красоты — красоты фантастического переосмысления мира, красоты наивного, простодушного верования в «чудесное», в «таинственное» — было бы добровольным обеднением себя, отказом от нашей истории, от наших глубинных, национальных корней. И скульптор Сергей Орлов решительно идет — нет не на «возрождение» древних преданий и поверий, а на их художественное, «вечное» обновление.

Взять его «Орущий лешачок». На обычной коряге проросли хрупкие опята, сыроежки, какие-то тонконогие грибки. Из этого изумительного фарфорового «грибного царства» вырастает фигурка «лешачка». О чем он, махонький и забавный, кричит в лесные чащобы? Кого скликает он? Кого хочет остановить или позвать на помощь? Он — сказка, но с этой сказкой невозможно распрощаться, с ней трудно расстаться. Да, пожалуй, и не к чему расставаться с «Лешачком», потому что он — красота.

Лесные были и поверья Сергея Орлова задевают самые благородные струны души человека, они будят в человеке чувства добрые и светлые, обновляют его. Но сказочный мир, созданный Сергеем Орловым, не уводит нас в прошлое. Он — яркая, жизнерадостная краска на палитре современности. Вот почему между малой пластикой известного скульптора и его монументальными работами, его бронзовыми изваяниями нет противоречия. Это — все проявления щедрой и многогранной души художника-творца.

В разгар Отечественной войны С. М. Орлов создал скульптуру «Мать». В глубокой скорби, в неизбывной печали застыла старая женщина, низко склонив голову и опустив на колени узловатую, тяжелую руку. Во всей ее позе, во всей ее одежде, наконец, во всем облике столько истинно народного, даже деревенского, что многие зрители могут признать ее своей матерью. Но скульптура — не портрет. Это — символ матери-родины, оплакивающей своих, погибших на кровавой ниве сыновей. Это — символ невыносимой тяжести войны, всех ее разрушений, смертей, бедствий. Здесь нет и намек на сказочную символику, на гротескную игру фантазии, как в «Шабаше» или «Драке». Скульптура — строго реалистична. Она скупа в деталях и в линиях, которые подчинены одной цели, од-

ной творческой задаче, — горе есть горе и всякое не то что бы приукрашивание, но даже всякая преувеличенная детализировка, пластическая многословность отдавала бы непереносимой фальшью.

Наибольшую известность С. М. Орлову принес конный монумент Юрия Долгорукова, установленный в ознаменование 800-летия Москвы. Сам скульптор так определял свой замысел, идею произведения: «Я старался передать в чертах его лица, — говорил Сергей Михайлович о Юрии Долгоруком, — во всем его облике ту мужественную народную красоту, которая вызывает представление о русских былинных богатырях, людях большой силы и великодушных душевных качеств». Надо сказать, что этот замысел художника в целом получил незаурядное художественное, творческое выражение. И хотя монументу присуща некоторая суховатость и — в духе требований эпохи — подчеркнутая помпезность, — Юрий Долгорукий С. Орлова по праву вошел в ряд лучших достижений нашей советской монументалистики.

...С толпой посетителей я медленно обхожу выставочные залы Академии художеств СССР на Кропоткинской улице. Многие ассоциации возникают у меня, когда я рассматриваю то страшную «Войну», которая летит на немислимых скоростях сегодняшнего дня и вопит торжественно и пронзительно, то скачущих Фауста и Мефистофеля, то кувыркающегося на ковре клоуна, то сдуваемого ветром старика из сказки о золотой рыбке. Движение, стихию движенья, многообразные оттенки движенья и полета я вижу почти в каждой работе С. Орлова. Но вот вместе с другими я останавливаюсь около стеклянной витрины и вижу по добрым улыбкам окружающих, что нужно внимательно осмотреть эту витрину. Там, за

стеклом передо мной стоит лукавый старичок. Забавно скользя ног, он волной распустил бороду, опершись на батожок, ждет чего-то. Ведь это же «Старичок»! Да, и дата под ним 1924 год!

Вряд ли стоит говорить о вихре чувств, которым я был подхвачен возле этого стенда. Далекая Вологда двадцать четвертого года, тесная комната в доме с облупившейся штукатуркой, фанерный лист и чуткие, трепетные руки мальчугана, впервые ощутившего свое призвание, — все это я увидел, увидел и запомнил навсегда.

«Было бы не худо, — думал я, — если бы у каждого из нас был в детстве такой кудесник, приносящий нам, в конце концов, счастье и жизненную удачу».

ДЛЯ ЛЮДЕЙ

УСТЬЕ реки Кубены — в слабом шорохе кустарников. Среди скошенной осоки поблескивает вода в заводях и протоках. Слепит солнце и кажется, что дымка, легшая на округу, заряжена особой светоносной энергией.

Резко кричит вьюша — озерная чайка. Широкими кругами проходит она над чистой водой, над шапками ивняка, над утиным гомоном и плеском.

Мой сосед из озорства вскинул было двустволку.

— Не бей. Все равно ей не перезимовать, — остановил его Федор Иванович — Пусть жизни порадуется.

Как он был прав, наш дядя Федя. Позже я узнал, что вьюши рано улетают на юг, еще в конце августа. Но бывает, самые выносливые, поверив теплым закатам и густым зелениям, отстают от стай и кружатся до первых заморозков над брошенными гнездовьями, пока не скроются навсегда в густой, снежной пелене.

...Несколько дней назад ночным поездом мы выехали из Москвы. Мы — это Федор Иванович Панферов, Владимир Васильевич Фролов, Аркадий Славутский и егерь Владимир Иванович, человек с бородкой-эспаньолкой, обходительными манерами и обширными познаниями во всем, что касается охоты и рыболовства. В Вологде к нам присоединился Сергей Викулов. Кроме меня и Сергея, никто в этих краях раньше не бывал. В селе Устье-Кубенское мы должны были провести читательскую конференцию, а заодно, что греха таить, и поохотиться. Так мы очутились на пойменных лугах, освещенных блеклым осенним солнцем, и увидели чайку, кружащуюся с пронзительным криком над водой.

Охотники готовились к вечерней тяге. Под кустами, далеко друг от друга, соорудили нечто вроде шалашиков, натаскали сена, разложили огненные припасы и остались одни. Сказать по совести, я не испытывал особого желания бродить по трясине или часами коченеть перед зыбким зеркальцем протоки. То ли дело рыбалка! Вот почему вдвоем с мотористом мы остались коротать время в каюте моторной лодки.

В нашем озерном крае без лодки не обойтись. Местные жители, едва появляется в доме достаток, приобретают не мотоцикл и автомашину, а подвесной мотор. Подвести ли дров, съездить ли за сеном, махнуть ли в гости к соседу, а то и просто порыбачить на озере — без мотора, как без рук. Райкомовский же катерок был дан нам временно, для охоты, и являлся весьма примечательным сооружением. Дряхлый моторчик с «газика», фанерная кабина, заштопанный, залатанный корпус — вот, что осталось от былой гордости моториста, который сам до последнего винта собрал эту «табакерку».

Совсем завечерело, когда охотники вместе с Ф. И. Панферовым вернулись к моторке. Трофеи у них были не ахти какие богатые, но рассказов, как всегда, хоть отбавляй. Только Федор Иванович пасмурнее, чем обычно, молчал. Его вновь мучила рвота.

Небеса просеивали дождевую пыль, ветер шастал по кустам и гнал мелкую волну. Оживление прошло. Неуютно, зябко, сыро было в фанерной коробке, вздрагивающей от порывов ветра и глухих ударов моторчика. Глаза невольно выискивали в кромешной дождевой мгле хотя бы одну золотинку света. Думалось о тепле, о квартире, о родных, собравшихся за вечерним столом. «Скорее бы, скорее бы, что ли...» Но моторчик чихнул раз-другой — и смолк. Непрерывно раскуриваемые папиросы освещали наши напряженные лица.

— Маслопровод пробило, — только и сказал моторист, зажигая закопченный фонарь.

Лодку покачивало все сильнее, очевидно, ветром насносило из устья реки в озеро.

Промозглой ночью, в утлой моторке, перегруженной людьми, мы были откровенно беспомощны перед водной стихией. В десятке километров — райцентр, там наша база — катер «Сухона», прямая телефонная связь с Москвой, а здесь — непроглядная темень, неизвестность и шипение вспененной волны. Кричи не кричи — голос сгаснет в нескольких метрах. Становилось тоскливо от этой несуразности, от барабанной дробы дождя, от угадываемых во мраке бесконечных, безлюдных плавней.

— Сергей! — голос Федора Ивановича зазвучал неожиданно молодо и сильно. — Ты знаешь, как мой земляк предколхоза слушал?

Мы задвигались, заулыбались. Панферов — превосходный рассказчик. Истории из народной жизни, байки и притчи он всегда завершал неожиданными концовками.

Одним-двумя словами он лепил облик человека, помогая себе жестом, интонацией, позой. Вот почему пересказать то, что он говорил, почти невозможно.

— Мой земляк — медведь. Во-такой, — и сутулился, и поворачивал голову вместе с туловищем, и хитро, по-медвежьи, помаргивал глазками. — Сидел как-то этот «земляк» на собрании. Колхоз у них горевой, никудышный колхоз. В правлении накурили — топоры вешай. Мужики ждут, известно, одно: сколько им на трудодни достанется. А председатель хитрит — два часа толкует насчет куриного помета. Инструктор райкома встал — и тоже о курином помете понес. Сами колхозники рассуждают, каким манером они будут этот самый куриный помет собирать. И только земляк все силился, силился спросить о трудодне. А когда за поздним временем собрание закрывать стали, поднялся он со скамьи да и брякнул: «Ежели насчет помета, так я первый согласен: весь курятник нонче же выгребу».

На том и собрание прикрыли... до следующего года.

Редко бывал Федор Иванович в таком ударе, как той осенней ночью. Истории следовали одна за другой, и в каждой обнаруживался наметанный писательский глаз, поразительное знание народной психологии, жизни народной. Подлинный артистизм исполнения наводил меня на мысль, что не будь Федор Иванович писателем, он был бы замечательным актером — таким, как Качалов, Москвин, Щукин. Или видным ученым. А вернее, он был сам собою и разнообразные таланты свои всегда подчинял одной цели — людям.

«Панферова трудно выразить в слове, как трудно уловить непрерывно меняющиеся краски заката», — сказал один писатель, хорошо знавший Федора Ивановича. Это верно. Но в щедро одаренной от природы натуре автора «Брусков» было и постоянство — постоянство богатырско-

го размаха, широты замысла и исполнения. Если он брался за новый роман, то этот роман должен был стать в его мечтах эпопеей народной жизни. Если вел общественную работу, то в масштабе государства. Если веселил друзей, то до коллик. Так случилось и с нами, обозленными дождем и холодом. В фанерной моторке, которая раскачивалась где-то в пространстве, сотканном из дождя и мрака, было шумно и весело. Неприметно мотор затарахтел, дождь стал стихать, и вдали прорезались золотые звездочки райцентра.

Тяжело подымался Панферов по трапу на катер «Сухона». Но мы, его товарищи, не замечали тогда, какого мужества стоили ему эти три часа добродушного веселья в фанерной лодке, заброшенной в осенние, приозерные плавни.

* * *

Каюта наша на «Сухоне» чем-то неуловимо напоминала фронтной блиндаж. Два ряда коек, раскаленная печурка, ватники, резиновые сапоги, ружья в чехлах и котелки на столе — походный временный уют, всколыхнувший полузабытые воспоминания. Как давно это было — офицерская землянка под Выборгом или «пивница» — подвал какого-то фермерского дома на берегу Одера. Да и со мной, с моими ли товарищами все это было? Тускло светит лампочка от аккумулятора. Пятно ее расплывается. Усталость, дремота свалили меня, едва голова коснулась подушки. Но то ли от непривычной жары в каюте, то ли от нахлынувших воспоминаний я часто просыпался и всегда видел одно и то же. В носу катера, за маленьким столиком, сидел Федор Иванович. Сидел, глубоко задумавшись, как будто даже нахохлившись. Изредка он что-то записывал в тоненькую тетрадочку и снова курил в полном безмолвии. О чем он думал, какие заботы тревожили его?

Может быть, как и мне, ему вспомнились руины «страны поверженных», выступления перед гвардейцами Пятой Краснознаменной дивизии, где он часто бывал, безостановочная лента бетона — и люди, и города, и равнины освобожденной Европы?

Двумя неделями позже, в редакции «Октября», мы узнали, чему были посвящены его ночные раздумья, что не давало ему покоя и сна. Пока мы рыбачили, варили уху, выступали перед читателями, спорили между собою, Федор Иванович не расставался с тетрадочкой. В его новую статью «Что такое современность?» вошли многие подробности нашей поездки в Кубеноозерье.

* * *

Невозможно провести грань между книгами, статьями Ф. И. Панферова и им самим как личностью, как человеком. Невозможно представить его отрешенным от неустанных художественных поисков. Возникшую в дружеском разговоре шутку затем можно было встретить в его новом произведении и, наоборот, за ночь написанное размышление героини уже утром проверялось на слушателях, на редакционных работниках, на госте, приехавшем откуда-нибудь из барабинских степей и заглянувшем в журнал «на огонек». Причем, размышляя вслух, Ф. И. Панферов никогда не ссылаясь на свои творческие планы, на трудности работы за письменным столом.

Нет, он, казалось, просто говорил о жизни, о только что прочитанных книгах, о рукописях, о забавных или драматических случаях, происшедших с ним когда-то. Но чувствовалось, что за этим непринужденным разговором писатель таит какие-то свои, важные для него мысли, что, изредка вскидывая на собеседника острые, изучающие глаза, он внимательно следит за тем, какое впе-

чатление производит на него этот разговор. И если собеседник разгорался, если сам начинал сбивчиво, путанно, но убежденно доказывать что-то, довольная усмешка мелькала где-то в прищуре серовато-синих панферовских глаз: значит зацепило. А собеседников, посетителей, просителей было много. Двери редакционного кабинета всегда были открыты настежь — и шли и шли литераторы, маститые и молодые, избиратели, друзья и недруги, близкие и чужие люди. Позднее, в размышлениях Акима Морева, меня поразило одно горькое признание. Мучительно переживая мнимую измену Елены, главный герой романа думает: «За что на меня свалилось такое? И сказать мне об этом некому. Скажешь — покручинятся, а другие заговорят о собственных нуждах, от меня ж требуя помощи»...

Да, помощи от Панферова требовали многие. И все просители были почему-то убеждены, что тяжело больной, перегруженный заботами и делами писатель обязан им помочь, как бы ни была мала, незначительна их просьба. И Панферов помогал — одному дружеской телеграммой, другому — беседой, третьему — крупной суммой денег, четвертому — вмешательством в издательские дела. Его отрывали от редакторских обязанностей, от чтения рукописей, от работы над романом — и требовали, требовали, требовали участия, и находили это участие, дружескую поддержку.

Особенно щедр в своей помощи Ф. И. Панферов был с молодыми литераторами. Он любил проводить с ними беседы и совещания, любил подолгу толковать с глазу на глаз о делах литературных и делах житейских. Причем собирая, к примеру, у себя в редакторском кабинете молодых поэтов, он часами слушал их стихи и отрывки из поэм, расспрашивал о новых замыслах, о планах и непременно всем предлагал куда-нибудь поехать, посмо-

треть новые края или вернуться в места, где не доводилось бывать уже много-много лет. По его убеждению эти возвращения к своим героям позволяли наглядно, зримо почувствовать стремительные изменения, которые происходят в нашей жизни и которые трудно бывает уловить на примелькавшемся жизненном материале.

Федор Иванович Панферов был подлинным поэтом земли, искренним и страстным певцом крестьянства. Вот почему свои размышления о новой доле людей земли он жаждал передать возможно большему кругу слушателей, читателей и собеседников. Он, как говорится, болел за судьбы родной литературы и особенно той литературы, которая подымала новые жизненные пласты, которая обращалась непосредственно к темам деревни. Однако он не любил да и не умел выступать на больших писательских собраниях. По крайней мере в последние годы жизни. В его словах о хлебе, о земле, о старом и новом Поволжье, о нефтяных скважинах Татарии — втором Баку — не было той легковесной броскости, которая могла бы накалить страсти в кулуарах, когда доброхоты, раздувая пиджаки, несутся куда-то, торопливо суют встречным руки или с преувеличенной радостью (не забыть бы про телеобъектив) тискают друг друга в объятиях: «Ну, каков старик? — Вот это дал старик!» И — запарусили дальше.

Вероятно, чувствуя все это, он говорил глухим сдавленным голосом, не отрываясь от текста и спеша закончить выступление, которое ни ему, ни другим отрады не приносило. Сопровождаемый вежливыми аплодисментами, он медленно проходил через зал и садился, насупясь, где-нибудь с краю.

Я так бы никогда и не узнал, какой это изумительный, нет-нет, не оратор — это слово здесь никак не подходит, какой это изумительный человек, если бы не поездка в Кубеноозерье.

...Утро — таких немало на севере в октябре — выдалось пасмурным, хмурым. Иссеченные дождем тротуары были заляпаны грязью. В иных местах жидкое месиво, которым заплывла улица, надо было переходить по наспех брошенным кирпичам, в иных — перепрыгивать, подобрав подола плащей. Мы шли что-нибудь перекусить перед выступлением. В районной чайной, где мы столовались, меню было отстукано на тонкой папиросной бумаге, с запасом, на полгода вперед: щи с солониной, гуляш из солонины, компот из сухофруктов.

Панферов отложил меню в сторону — с ночи его сильно мучили приступы болезни — и заказал себе чай. Помешивая ложечкой спитой или, как у нас говорят, сиротский чаек, он раздумчиво смотрел в окно. По-осеннему тягостен был вид коленстой улицы, домиков, вымокших по балясины мезонинов, убогой, с облупившейся штукатуркой церковки, старых тополей, с которых ветер сбивал остатки мокрой листвы.

На час дня в районном клубе было назначено наше выступление, и никто из нас не сомневался, что в такую погоду, да еще в такое время вряд ли соберется много народу. Ну, будет районное начальство, придут учителя, кое-кто из учащихся, один-два пенсионера, оказавшихся в этом селе, — вот, пожалуй, и все. Однако Панферов здесь же, в чайной, достал из кармана пиджака заветную школьную тетрадочку и долго обдумывал и записывал тезисы речи.

Клуб, как и все в это утро, казался унылым, неприветливым. Это было длинное, обшитое серым тесом здание, которое никак не кончалось, а все тянулось и тянулось вдоль дощатого тротуара.

Но уже возле дверей мы увидели стайку девчат. Оживленно переговариваясь, девушки мыли ботики, залитые дорожной глиной, снимали и сворачивали голубые и ро-

зовые прозрачные накидки. Присмотрев нас, засмутились, но поздоровались по-деревенски громко и простодушно.

Клуб был полон. На деревянных скамьях сидели женщины, да, большинство женщин. Лишь кое-где мелькали светлые мальчишечьи вихры да темнел ватник старого рыбака. Девушки принарядились — накинули на пальто цветастые косынки, а женщины из-за ближайшей дороги так и сидели в теплых платках, приспущенных на плечи. Их рабочие, свекольно-красные руки спокойно лежали на коленях. Их молодые и немолодые глаза были полны нескрываемого любопытства. Секретарь райкома, как и положено, открыл литературный вечер «Октября» и представил присутствующим гостей. При имени Федора Ивановича Панферова в зале отчаянно захлопали в ладоши да и потом еще долго переговаривались, показывая друг другу на известного писателя.

В клубе — потеплело, а если точнее сказать, то подобрело, — и, подхваченный волной этой доброты, первым вышел к трибуне Сергей Викулов, постоянный автор журнала. Его улыбчивые, деревенские стихи, как и он сам, смущавшийся, неловкий, какой-то свой, нашенький, понравились — и тем, кто был на сцене, и тем, кто сидел в зале.

Казалось, в воздухе засветилось облако, насыщенное особой энергией, когда что ни слово, то в кон, что ни шутка, то прямо в точку. Остальным после Викулова было легче.

И все-таки Федор Иванович волновался, а, волнуясь, острее ощущал тянущую боль в груди. Так он и вышел к трибуне, согнувшись, как будто даже сторбившись, и заговорил будничным голосом, в котором прорывалось затаенное страдание. Но зал уже потянулся вперед, как пламя на притворе, зал уже слился в целое, уже впитал в себя и эти острые, серо-голубые глаза, и морщинистое,

с болезненной желтизной лицо, и курчавую, ладно посаженную на плечи голову, и весь облик этого неездешнего человека в добротном пиджаке с депутатским значком в петлице, но все-таки, как и Сергея Викулова, в чем-то своего, нашенского.

Выступление Панферов начал с меры ответственности писателя перед народом. По рядам прошел легкий шумок: здесь чаще звучали требования и обязательства, выстраивались в колонки цифры, сыпались цитаты, но вот так, чтобы кто-то просто и серьезно заговорил об ответственности любого перед ними, перед сидевшими в зале, перед народом, такое приходилось слышать впервые.

Однажды, рассказывал Федор Иванович, молодой поэт принес в редакцию «Октября» поэму «Живой венок». Сюжет поэмы был незамысловат: крестьяне глухой смоленской деревни, узнав о смерти Владимира Ильича, решили собрать по избам живые цветы, сплести из них венок и отправить этот венок в Москву, чтобы возложить на гроб Ильича.

Поэма была прочитана в редакции и всем понравилась. Прочитал ее и Панферов.

«— Почему цветы? — спрашиваю я у поэта. Автор промолчал. — Вы знаете, какие цветы стоят у мужика в избе? — Снова молчание. Поэт, действительно, не подумал, а какие же в январе можно собрать цветы по деревенским избам?»

— Ванька-мокрый! — не удержался и выкрикнул из зала парень в замасленной спецовке.

— Верно, — поддержал его Панферов. — Ванька-мокрый — мокренские, хлипкие цветочки, которые не то что сплести, связать в букет невозможно. — Пусть мужики, — посоветовал я молодому стихотворцу, — сплетут венок из колосьев доброй умолотистой ржи. Правды будет больше да и хорошо это — матушка-рожь. Большие

всего любят ее в деревнях. Любят и ценят. А наши поэты все о васильках да васильках... Нет более поганой травы для крестьянина, чем эти самые васильки.

— Так что ли, товарищи женщины? — обратился Панферов к залу.

В ответ дружно и одобрительно загудели, а потом, не умея иначе выразить чувств, переполнивших сердца, разразились аплодисментами.

— Нельзя неправдой, пусть в мелочах, пусть в частности, — продолжал Федор Иванович, — оскорблять великую любовь народа к Ильичу. Писатель должен быть правдив во всем. Правдив, — подумал, посмотрел в зал, — и, конечно, талантлив. Ну, а идею мы вотрем, — добродушно посмеиваясь, заключил Панферов, — лишь бы у человека талант был.

Женщины, бывшие в зале, чувствовали себя теперь совсем по-домашнему. Они расстегнули пальто, положили платки на колени, уселись поудобнее. Они предвкушали большой, может быть, самый значительный в их жизни разговор. И они не ошиблись в этом.

Панферов, все более и более вдохновляясь, остро и доверчиво вглядываясь в обветренные лица женщин, размышлял с ними вслух, почему писатель, прежде чем взяться за перо, должен жизнь прощупать собственными руками, почему он должен быть глубоко правдив с народом. Да потому что, вырвав победу у врага в войне, которой не было тяжелее и кровопролитней, наш народ достоин правды, только правды, только ее одной.

Тут Панферов, неожиданно для нас, сидевших на сцене, заговорил о ласке. Да, о сердечной ласке, отзывчивости, доброте. Он заговорил о вдовьем горе и о том, что едва ли не большее всего вдова переживает людское равнодушие, душевную черствость. Она, вдова, лишилась самого драгоценного в жизни — мужской ласки и к ней

надо идти не с окриком, — она слышала их, не с приказом, — она привыкла к ним, а с задушевным словом совета и утешения.

Я посмотрел в зал. У многих в глазах стояли слезы. А ведь нелегко хотя бы вот у этой пожилой колхозницы, сидевшей прямо против нас, высечь слезу словом. Ее лицо было замкнуто и сурово. В ее волосах с жидким узелком на затылке поблескивали преждевременные седины. Как видно, она была из тех вдов, о которых сейчас говорил Панферов. Для нее речь писателя не была ни пресной, ни банальной. Эта речь для нее была откровением. Оставшись одна с ордой ребятишек, чтобы их прокормить, она перетаскала на спине баржи мешков, перелопатила горы земли, недоспала тысячи ночей. Нет, высечь у нее, закаменевшей в горе и заботах, слезу благодарности было не так-то легко и просто.

В четвертом часу пополудни мы вышли из клуба. Возвращались в центр села притихшими, сосредоточенными. Не было у нас обычного оживления, того легкого самолюбования, которое неизбежно несет с собой удачно проведенный литературный вечер. Ничего этого не было. Потому что каждый из нас понимал одно: как же надо уважать свой народ, чтобы в тесном зальце, перед случайными слушателями — жителями приозерных деревень так не шадить себя, так стогать от гордости за них, за этих людей, и от печали, как это только делал Панферов.

...День никак не разгуливался; он по-прежнему был пасмурным, неприветливым. Но на душе не было и в помине той тяжести, которая томила меня вначале. Томила и заботило другое: где взять сил, чтобы повторить этот подвиг.

ЗА МОНАСТЫРСКОЙ СТЕНОЙ

МНЕ надоело слышать одни и те же вопросы, которые задавались с нескрываемым удивлением и даже раздражением:

— Ты был в Ферапонтовом монастыре? Ты видел фрески Дионисия? Как?! Ты до сих пор не удосужился побывать на берегах Бородаевского озера?!

И далее следовало все то, что положено в таких случаях выслушивать от друзей, заинтересованных в том, чтобы ты приобщился к их удивлению и восторгу, чтобы ты стал таким же, как и они, поклонником несравненных росписей несравненного старца Дионисия.

Все это мне надоело, а больше всего надоели собственные проволочки, ссылки на неотложные дела, неоконченные рукописи и недочитанные книги, лежащие на столе, на всю ту крутоверть, которая с утра захватывает тебя и не дает ни оглянуться, ни опомниться до полуночи.

Короче говоря, однажды на Дзержинской я взял билет в кассе «Аэрофлота» и улетел, не ответив на телефонный звонок, задребезжавший в тот самый момент, когда я, надев пальто, взялся за ручку чемодана. Я просто выскочил за дверь, бегом сбежал с шестого этажа и через час садился в почтово-пассажирский самолет на Быковском аэродроме. Мне здорово повезло, потому что в тот же день от причалов Череповецкого речного порта отходил теплоход на Кириллов.

Что я действительно приближаюсь к Ферапонтову, что скоро мне удастся повидать фрески Дионисия, я понял лишь в автобусе, который, как рыбачий баркас, бросало с боку на бок, — это автобус петлял по старинной проселочной дороге Кириллов — Чарозеро.

Стояла середина мая, но день выдался холодный, ветренный, и в окно автобуса, забитое фанерой, сильно дуло. Я судорожно держался за поручни кресла, не рискуя их вынуть даже тогда, когда автобус выбежал на ровную дорогу.

«Не на этих ли ухабах мотало возок со старцем Дионисием?» — позабавила меня на какое-то мгновение мысль. Но чем ближе к вечеру, тем пасмурнее становилась погода; и когда, наконец, автобус прибыл в Ферапонтово и я увидел на взгорке надвратную церковушку с полуразрушенной оградой монастыря, меня охватила такая беспросветная тоска, что я подумал: а стоило ли мне срываться с места, лететь сломя голову за тридевять земель, чтобы полюбоваться тем запустеньем, которого хватает в иных памятных местах Подмосковья.

Поселился я у бабки Любавы в закутке, оклеенном прошлогодними номерами областной газеты «Красный Север» и освещенном старой керосиновой лампой. До утра нечего было и думать, чтобы идти в монастырь. Но я все-таки миновал водосброс у Бородаевского озера, поднялся на взгорок, оглядел со всех сторон ограду монастыря, каменный храм Рождества богородицы, вернулся к главным так называемым святым воротам и от нечего делать стал разглядывать росписи на охлупшей, отставшей кое-где штукатурке. Росписи меня огорчили: они были выполнены рукой ремесленника и, конечно, никакой художественной ценности не представляли. Провинциальный реализм на библейские темы провинциального богомаза, как и в большинстве церквей начала века.

Поутру я недолго распивал чай у бабки Любавы в избушке, вросшей в обочины по-осеннему раскисшей дороги, разбитой к тому же тракторами и грузовыми автомашинами. Я снова миновал водосброс, снова поднялся к ограде монастыря.

За ночь что-то неуловимо переменялось то ли в моем настроении, то ли в облике архитектурного заповедника; теперь кое-где виднелись следы реставрационных работ, заметно краснела свежая кирпичная кладка, лежали бумажные мешки с цементом, груды песка. Строители явно не спешили, как и вообще они не шибко торопятся при реставрации памятников древности. А пока мне открылся крохотный монастырский дворик перед рождество-богородицким собором. Дуплистые тополя и березы придавали ему вид уютный, а точнее укромный, как бывают укромны старинные аллеи и запущенные парки где-нибудь возле бывших барских усадеб.

Хромой, неразговорчивый смотритель мне и еще двум экскурсантам, по-видимому, москвичам, отомкнул тяжелый замок на кованых дверях собора, и я ступил на истертые плиты лестницы, ведущей к главному входу. Над входом находилась тесовая галерея и поэтому там было сухо и чисто, как в домовитых деревенских избах. В то самое мгновенье, когда я поднялся по лестнице, яркий солнечный квадрат окна упал на выскобленный деревянный пол галереи, — стало так светло, что засветилась каждая ворсинка на полу, до блеска надраенном дресвою. Дресвой трут хозяйки полы, чтобы они были чище и обиходнее, — таков обычай в северном крае. Эта чистота и свежесть создавала предпраздничное настроение, и я невольно перевел дыханье, пытаюсь одолеть непонятный для меня приступ радости, вернее предчувствия радости, которое, по-моему, подчас волнует сильнее, чем сама радость.

Не могу сейчас точно передать первые мысли и первые чувства, возникшие у меня при взгляде на фрески Дионисия. В глубине сознания я сразу понял: это что-то такое, что встречается раз в жизни. Плохо зная акафист деве Марии, который послужил сюжетной основой росписей Дионисия, основное внимание я, конечно, обращал на краски и на технику живописца. Здесь у меня не было сомнений: изумительное, подлинно возрожденческое произведение искусства было передо мной! На фресках главного входа преобладали нежно-голубые и горячие, золотисто-охристые цвета, — они-то и создавали ту приподнятость, особую возбужденность, которую я испытал, подымаясь по лестнице и выходя на деревянный пол галереи. Причем голубой, вернее небесно-голубой цвет был как бы слегка выгоревшим, тронутым пылью столетий, прошумевших за стенами собора. Нет, это не была пыль в повседневном, будничном понимании, это была пыль веков, чуть приметная седина времени, — в этой легкой дымке, в этой седине было для меня особенное обаяние фресок.

В самом соборе от кирпичного пола до купола — все было расписано рукой Дионисия и его сыновей Владимира и Феодосия, а также их иконной дружиной. Испытанное мною возбуждение не улеглось и теперь, когда я стал разглядывать четырехъярусные «письма» церкви. Фрески как будто светились изнутри. Фигуры праведников и святых, непомерно удлиненные, а поэтому изысканные, невесомые, парили в голубом пространстве. Особенной теплотой, изяществом отличались женские фигуры. Их позы были исполнены врожденной грации, их движения были медлительны и неторопливы. Стоявшие невдалеке от меня москвичи, притихшие, зачарованные, шопотом, невольным шопотом, потому что в церкви мы были одни, обменивались редкими взвешенными словами.

И всю неделю, которую я провел в Ферапонтово, каждое утро, как на службу, я приходил в собор, садился на широкую скамью перед росписью главного входа или сразу же проходил в собор и никогда не уставал смотреть на эту спокойную, умиротворенную, как бы сказали в старину, многовещанную поэзию стенового письма. Постепенно фрески размыкались на отдельные картины, образовывали композиции из народных толп, шествий, поклонений, жанровых сценок, диких животных, — в одном без труда я узнал северного медведя. Мне стали понятны и библейские притчи, если не все, то многие: ведь художник в них изобразил вечные радости и горести людей, иных он не знал, иных он, земной человек, не ведал и ведать не мог.

От этих сцен веяло на меня беспредельным миролюбием и такой же беспредельной душевной добротой и щедростью живописца. Своим великим талантом он утешал всех, кто изнемогал в скорби и печали, кто был обездолен, наг, сир, кто терял веру в людскую справедливость и отзывчивость. Он ободрял этих людей, он вселял в них надежду, что есть, должна быть иная, лучшая жизнь, иной, лучший, очищенный от скверны и страха, от крови и злобы мир. Для нас же, людей новой эпохи, его мастерство, его прекрасное искусство остается свидетельством неизбывной жажды человека жить в мире и согласии, творить, доверяя повелениям своего сердца, разума, чувства и вдохновения.

Настал день отъезда. В последний раз я пришел в собор и только тут, на софите маленькой дверцы, выходящей на север, заметил полустершуюся церковно-славянскую вязь. Как я ни бился, мне не удалось разобрать эти письмена. И только в Москве, в «Истории русского искусства» В. Н. Лазарева я прочитал их полностью: «В лето 7008 (1500) месяца августа в 6 день на преображение

господа нашего Иисуса Христа бысть подписывати церковь и кончена на 2 лето месяца сентября в 8 день на рождество пресвятыя владычицы нашей богородицы Марии при благоверном великом князе Иване Васильевиче всея Руси, при великом князе Василии Ивановиче всея Руси и архиепископе Тихоне, а писцы Дионисий — иконник со своими чады. О владыко Христе, всех царю, избави их господи мук вечных».

Я привел эту надпись полностью, потому что старинной тяжеловесностью, она, как ничто другое, передает воздух эпохи, в которую творил великий художник. Эта подпись в дальнейшем сыграет немалую роль в судьбе художественного наследия Дионисия.

Древние живописцы не имели обыкновения подписывать фрески и иконы, — тем загадочнее причины, по которым Дионисий решил оставить потомкам свое имя. Да и вообще, как он, жалованный государев иконник, попал в лесные дебри, в безлюдные «белозерские страны». Предположениям и домыслам несть числа. Уже тогда, в Ферапонтово, у меня смутно возникла своя догадка. Однако эта гипотеза хоть в малой степени должна была опираться на факты, на свидетельства современников, на летописные источники, — а вот их-то у меня под руками и не было. Впоследствии пришлось по крупицам собирать редкие упоминания о Дионисии в летописных сводах, в житиях церковных иерархов, в искусствоведческих работах. Но все это было потом. А сейчас я хотел бы рассказать, как благодаря этой подписи в Рождественском соборе Дионисий был открыт вторично.

За четыре долгих столетия потомки забыли имя Дионисия. Забыли настолько основательно, что даже И. Бриллиантов, оставивший историю Ферапонтовского монастыря, изданную к пятисотлетию со дня основания обители (1398—1898), спрашивал в связи с предположитель-

ной датой строительства Рождественского собора: «Упоминаемый здесь Дионисий-иконник не тот ли знаменитый в свое время иконописец Дионисий, которому в 1482 году заказывал писать иконы архиепископ ростовский Вас-сиян?»

Однако вопрос был оставлен без ответа. Бриллиантов больше не возвращался к нему, считая, вероятно, свое предположение нелепым, бездоказательным.

Незадолго до первой мировой войны В. Т. Георгиевский, знаток русской старины и иконографии, предпринял путешествие по северным губерниям. В глухом углу Новгородского края, в полузабытом, полуразрушенном Ферапонтовом монастыре, ему посчастливилось найти древнюю стенную роспись. С первого взгляда фрески поразили его силой художественного мышления, необычным колоритом, изяществом и решительностью рисунка. Еще больше удивился В. Т. Георгиевский, когда на стене собора он обнаружил не что иное, как собственноручную подпись Дионисия. Сомнений быть не могло: эти фрески принадлежали кисти сподвижника знаменитого Аристотеля Фиоравенти, строителя Московского каменного кремля, Успенского и Благовещенского соборов, в которых сам Дионисий, а после его смерти сыновья Феодосий и Владимир расписывали стены.

В 1911 году в Петербурге вышла солидная монография «Фрески Ферапонтова монастыря» Георгиевского, в которой описывалась история открытия этой жемчужины древнерусской живописи и были приведены репродукции фресок. Так Дионисий, называемый летописцами «мудрым», «пресловущим паче всех, (т. е. более всех других знаменитым) в таковом деле», «изящным и хитрым в русской земле иконописцем, паче же рещи живописцем», через четыре столетия стал вновь известен художественной общественности России.

Как же случилось, что стенная роспись Дионисия и его сотоварищей сохранилась в первозданной свежести и красоте? За четыре века немало сменилось поколений, отпылало пожаров, отгремело войн, рухнуло, исчезло с лица земли зданий! Почему же фрески в Ферапонтовом монастыре ни разу не стирались, не срубались топорами, не переписывались заново, как в большинстве древних соборов и храмов? Ответ на этот вопрос может быть только один — это счастливая случайность, «почти чудо», как сказал Георгиевский.

Наивно думать, что монастырская братия сохранила фрески Дионисия лишь потому, что они принадлежали кисти великого художника. Братия ничего не знала ни о Дионисии, ни о его творениях. Скорее наоборот, братия считала стенную роспись недостаточно канонической и «божественной». По некоторым свидетельствам в XVIII веке были предприняты попытки подновить фресковую живопись. Тогдашние стенописцы первым делом усилили сияние нимбов вокруг святых угодников. Правда, новые краски вскоре осыпались. Но в начале XX века местное духовенство затеяло перестройку собора, отдельные фрески были непоправимо повреждены проломами, а сам собор дал трещины, которые, кстати сказать, зияют в стенах собора и по настоящий день.

Дело обстояло гораздо проще: в северных лесах, вдали от торговых путей и дорог, затерялся этот небольшой монастырь. В 1798 году он был закрыт вообще и рождество-богородицкий собор, расписанный иконной артелью Дионисия, превратился в простую приходскую церковь. Бедность прихода, его заброшенность, его удаленность от промышленных центров, — вот что спасало это выдающееся произведение древне-русской творческой мысли.

Слава Дионисия, младшего современника Андрея Рублева, постепенно стала возвращаться к нему. Первооткры-

ватель дионисиевых росписей В. Т. Георгиевский назвал художника «великим колористом». И это, действительно, так. Секрет солнечных, медвяно-золотистых и нежных, зеленовато-лазурных фонов был утерян после смерти великого мастера. Ни разу в русской настенной живописи не заструились, не засверкали с такой интенсивностью, с такой силой природные краски, как под гениальной рукой Дионисия. А ведь все эти краски были найдены на берегах Бородаевского озера. Синий фон, прославивший его, в работах других стенописцев стал мутнеть, превращаться в темно-бутылочный, свинцово-зеленый фон. В дальнейшем, в XVIII веке, цветовая гамма стенных росписей многих соборов приобрела вообще грубо-ремесленный, лубочный характер.

Что касается изобразительного дарования Дионисия, то здесь можно привести немало свидетельств наших крупнейших исследователей, художников, работников картинных галерей и музеев. Научный сотрудник государственной Третьяковской галереи В. И. Антонова в своем исследовании справедливо отмечает: «В наше время Дионисий, вслед за Андреем Рублевым, должен быть оценен как художник, творчество которого имеет всемирное значение». В. И. Антонова подчеркивает, что Дионисий выразил в живописи «зрелое национальное самосознание русских людей». Н. М. Чернышев в книге «Искусство фрески в древней Руси» пишет, что, по его мнению, западный портал, главный вход собора, «является произведением огромной художественной ценности».

Я не вхожу в тонкости искусствоведческих споров, они ведутся с неослабевающей силой, а просто хочу напомнить один немаловажный факт: из двух великих художников древности широкая публика знает имя Андрея Рублева, но почти (или точнее почти) ничего не слышала о Дионисии.

После поездки в Ферапонтово по давнишней привычке я засел в «Ленинку» — библиотеку имени В. И. Ленина в Москве и, работая над архивными материалами, попутно, скорее для себя, чем для публикации, стал заносить в черновые тетради выписки, в которых говорилось о непреходящем значении творчества Дионисия в наши дни. Я отнюдь не думал воспользоваться этими выписками, наивно полагая, что существо вопроса ясно без дополнительных пояснений. Но я ошибался и в дальнейшем понял, что без цитат и веских свидетельств крупнейших авторитетов мне не обойтись. Сами «северные письма», сама фресковая живопись, сохранившаяся в соборах, по-прежнему у иных ревнителей атеистического воспитания молодежи вызывает, если не чувство неприязни, то во всяком случае неодобрения и недоумения. Библейские и мифологические сюжеты для западно-европейских художников давным-давно принято считать естественным и закономерным этапом в духовном развитии всего человечества. Что же касается наших национальных святынь, неповторимых образцов нашей национальной живописи, то здесь инерция и догматизм действуют с прежней силой. Мы подчас забываем слова, которые сказал Сергей Есенин в одном из предисловий. Поэт просил относиться к его «исусам» и «божьи матерям» как к сказочному в поэзии, как к мифам и легендам, существующим и у других народов.

Да, история — это вехи прошлого. Но, оглядываясь на них, мы яснее можем прочертить направление грядущих событий. Отсюда внимание наших современников к исторической тематике, поиски не следствий, а причин, не сиюминутного, преходящего, а незыбленного, вечного, коренного. Вот почему вместо искусствоведческого исследования мне захотелось в меру сил и возможностей воссоздать облик Дионисия, поведать историю возникновения его фресок в Ферапонтовом монастыре.

УТЕШЕНИЕ ДИОНИСИЯ

КРИК монастырских галок подымало ветром над звонницей, сносило в поля вместе с редкой куделью тумана. Ветер дул-задувал ровно и сильно, как из подворотни, раскачивал вершины старых тополей, срывал с крыш сырые дранки. Белесый туман рвался на лету, — и тогда с небес начинало скупко сочиться утреннее солнце. Было похоже оно на яичный желток, растертый в белилах. С косогора, из-за ограды, виднелась взъерошенная даль Бородаевского озера, в заозерье — кромка лесов, откуда неостановимо вылетали, пластались по небосклону облачные стаи. На монастырском подворье свивались в тугие петли тропинки. Начинались они у поварни, у трапезной, у монашеских келий и вели к широкой лестнице рождество-богородицкого собора. Собор стоял на взмостье, окруженный с трех сторон галереей. С главного входа еще не сняли леса; сквозь горбыли, сколоченные крест на крест, сияла охряная и лазурная роспись.

Ферапонтова обитель не была столь богата и славна, как соседний Кирилло-Белозерский монастырь. Мало землицы и деревень было приписано ферапонтовской братии.

Мало было и прихожан в глухой округе. Зато место красно и удобно на жительство избрал в старину Ферапонт, основатель обители, сподвижник старца Кирилла. Стоял монастырь на взгорке между двух озер, одно —

Бородаевское, другое — Паское. Озера — рыбные. Леса — грибные. Сенокосные угодья — обильные. Потому-то и трезвонили часто колокола, как они трезвонили в тот час, когда на ветру раскричались монастырские галки.

...Дионисий, угрюмо насупившись, шел к храму по размокшей тропинке. Ночью в келье он лежал пластом, не смыкая тяжелых от бессонницы век. Дионисий все прислушивался к дребезжанью слюдяного оконца, к глухим порывам ветра, к ударам колокола, мерно стекающим со звонницы. Медной доской давила на грудь духота и не было сил сбросить ту доску, вздохнуть, как и прежде, легко и свободно. Смутилось в нем сердце, — страх смерти напал на него, покрыл тьмой недоумений, объял душу боязнью и трепетом. Почитай, с самой весны, точила его, как червь дерево тлит, неотвязная дума: прах летучий сие житие, пустое мечтанье.

Встал Дионисий, измаянный лихотоманкой, ослабевший, поникший. Едва отворил низкую дверь, как ветер вырвал из рук скобу, с силой хлопнул притвором. От ветра, дующего с Бородавы, от утренней свежести, от милых душе озерных просторов вроде бы чуть полегчало. Взгляд привычно скользнул по крестьянским дворам, прилепившимся к косогору, по рыбацким ладьям, вразнобой пляшущим у причала, по синему лесу, зубчато стеснившему монастырь. Дионисий перекрестился на храм и надумал идти было дальше, как от соседней кельи навстречу ему поднялся человек. Длинные космы — мокры, спутанны. Сквозь рвань ходильного платья обнажилась грудь, тяжело блеснул нательный, кованый крест. Это был блаженный инок Галактион. Не имел он ни кельи, ни малой коморы, ночевал где придется на монастырском подворье, иное под окнами келий, иное на голой земле у собора, —

радел о славе мученика и провидца. Старый игумен благословил монаха на подвиг юродства, и с тех пор приводил он в трепет лесную округу. Баяли все: ферапонтовский Галактион, дескать, блажен во юродстве, наделен даром разума иступленного, провидец он, страстотерпец. И сторонились юрода, остерегались задеть его словом, обидеть его ненароком. Очень страшный был по всему человек.

Среди монахов шел шепоток, будто не без его, галактионовых, козней случился в монастыре пожар. На осеннем рассвете враз загорелись амбары, сушильня, ограда, запылало все, затрепало, огонь перекинулся на ветхие кельи, в одной из которых жил опальный отшельник по имени Иосаф. Сановитый, сведущий в княжьем письме был Иосаф из знатного рода Оболенских князей. Подался он в белозерские страны, отягченный княжеским гневом. Блаженный Галактион, словно приبلудший пес, слонялся вокруг иосафовой кельи, спал, согнувшись в калач, сидел у стены истуканом. Когда враз охватило пламенем низкую кровлю, вскричал знатный старец, что лежит в потайном уголке некий клад, хранимый монастырского ради строенья. Тогда-то Галактион, случившийся при пожаре, осенил себя крестным знаменьем, бросился в дверь, забитую дымом. Вынес из пламени и поставил к ногам Иосафа укладку, окованную серебром да красною медью. С тех пор и пошла за юродивым слава, как за прохожим верная тень. Поминали слова, сказанные до пожара: «Не стоять вашей обители году. Святости нету в ваших трудах!» Сгорела б обитель до тла, да, вишь, помогла галактионова одержимость. На ту казну князей Оболенских были срублены заново все постройки. Начали строить и новый собор. Возводили его с великим стараньем, — камень везли издалека, из-под Ростова. Ростовской артелью с мастером Прохором был собор изукрашен кирпичною

вязью, узором из бусынок, выпуклою — обронной — плетницей.

Дабы придать большее благолепие церкви, отписал Иосаф грамотку на Москву. Звал в той грамотке он самого Дионисия, известного в русской земле живописца. Старый мастер на уговоры не поддавался. Однако в зиму 1500 году неожиданно прибыл в обитель с двумя сыновьями — Владимиром да Феодосием, да левкащиком Еремеем, да иными пособниками и писцами.

Той же весной артель приступила к работам.

Галактион, пригнув косматую голову, стоял возле узкой тропинки. Посинелый рот кривился в привычной ухмылке.

— Калабан, чалабан в predisподню угадал, — зачистил он, косноязыча, кланяясь Дионисию в пояс. Живописец хотел миновать его, но юродивый сыпал словами, словно каленым горохом.

— За смехотство, высмехотство в predisподню угадал! — И, сверкнув глазами зло, затаенно, хрипло добавил: — Худ ты, иконник, стал. Помрешь, видно, скоро...

— Каждсму по делам его, — нехотя отвечал Дионисий. Но юродивый, распаяясь все больше, шагнул на тропинку, замахал, как мельница, рваными рукавами.

— Иконник, иконник, сатанинский угодник... Ты почто пожаловал в нашу обитель? Ты почто смешал божество с мирскою толпою? Ты святителей пишешь длинных, как жерди. Еретик ты! В адском пламени будешь гореть! Стенописаньям твоим осыпаться, как перхоти с шелудивого пса!

Юродивый сжал кулачища, повалился ничком на тропу. Жаждал он иступленьем своим унижить пришельца, обласканного, как гласила молва, отшельником Иосафом и даже великим князем московским. Лютая зависть сжи-

гала Галактиона: был ненавистен ему величавый мирянин, превзошедший во славе его, страстотерпца.

Дионисий неловко подавшись вперед, стоял перед иноком, бившимся в черной падучей. Сухим, настороженным блеском были полны его очи. Не однажды слышал почтенный мастер подобные речи, — и не тут, не в дебрях лесных, а на дворе у великого князя, в Москве. Знай об этом юродивый, раздуло б его от гордыни, как раздувает утопленника в пруду.

— Встань, монасе, — тихо просил Дионисий. — Понапрасну семена злочестия сеешь: тебе не дано проникнуть в тайны стенного письма, в неизреченные наши заботы. Встань и иди, — повторил он суровой и строже.

Острые лезвия глаз Галактиона стали меркнуть, тускнеть. Но напоследок те лезвия полоснули по ясным глазам стенописца и только тогда, обмякнув, поднялся юродивый с влажной земли и, шатаясь, как с зелья хмельного, побрел в дальний угол подворья.

Заложив тонкие пальцы за опояску, хмуро смотрел ему вслед Дионисий. Нет, неспроста бесноватый затеял раденье. Горазд был на выдумки этот монах, ой, как горазд. «Святости нету в ваших трудах!» — вопил он монахам еще до пожара. Да и теперь повторял он слова не свои, а чужие. Знал Дионисий: невежество злость порождает, а злобе вкупе с бесчинством нет и не будет предела. Ведь кому же иному, как не ему, не Галахе, радеть о крепости веры, благословенья искать у пастырей здешних. Ах, да что сей темный и бешенный инок! Даже князь церкви, его покровитель игумен волоколамский бился в падучей, когда прослышал о смуте в новгородской земле. «Хулящих царя небесного, наипаче царя земного — казням лютым предать, в заточенье сгноить!» — кричал он,

входя в иступленье. Мнил волоколамский игумен: дойдут его речи до князя Ивана, прозвучат малиновым звоном в кремлевских хоромах, возвестят Ивану о страже надежном, о прочном щите христианства. Семена благомысленной одержимости, поиски ереси дадут, — вздохнул Дионисий, — на Руси немалые всходы. Запылают смоленные клетки с еретиками. В землю заживо станут закапывать вольнодумцев. Неужели и роспись стенную топорами ссекут? Неужели его, Дионисия, труд пропадет от бесчинства, от злобы? Добро б от татарских мечей, а то от скребков неразумных монахов, наученных, науссканных таким же блаженным, как юрод Галактион. Провел по глазам Дионисий, как будто снимая лишнюю паутину, пошел угнетенно к южной ограде, где на левкасном дворе стояли крестьянские дроги.

Везли мужики в монастырь промытый речной песок, мешки с ржаною мукой, лен в тяжелых жгутах. Московский пособник по имени Еремей придиричиво трогал и песок, и лен, и уголь в грубых рогожах. Был пособник зело понятлив в строительном деле. Ведал он: в стенописаньях левкас — всему голова. Известь для левкаса, — а им покрывают стены соборов под краску, — потребна белая, мягкая, словно перина. Зимой эту известь вымораживают на холоду, а летом — мешают в творильных ямах. А все для того, чтоб не пошла емчуга по письму морокой, чтоб не покрыла лики угодников соляным, белесым налетом.

Когда же известь протрут, просеют, надо лен вычесать, изрубить его мелко, добавить коры еловой, да все смешать — вот тогда и будет спелым левкас. Тогда по редкому ряду железных гвоздей, вбитых в стены, наматывай левкас, гладь его ручною лопаткой, грунтуй стены под краску. Но помалу делай дело: должен успеть живописец за день покрыть стены письмом. А как засохнет левкас, так писать иконнику худо.

Поучал Еремей мужиков-тугодумов, как готовить левкас, мял взыскательно известь в ладонях. Крепок дуб множеством корения, а художество крепко заботой и тщаньем людским. Тут, брат, любые проклятья бессильны, тут, брат, надейся вернее всего на себя.

— Добрый ныне левкас, — сказал Еремей, вытирая ладонь о порты. Отличался левкачик добродушием, дородностью и голоса густотой.

— Феодосий, — как из бочки, гудел он, — «Брак в Кане» графьей помечает, а Володимир — серафимов в окне пишет.

Дионисий вместе с Еремеем осмотрел, как холопы в рваных сермягах лопатят левкас, как несут в берестяных кошелях к паперти собора. Левкачик, чуть поотстав, шел за главой иконописной артели.

— Леса-то с главного входа пора бы убрать, — сказал Дионисий. Еремей охотно кивнул в ответ загорелую плешню.

...Из-за высоких помостов, чанов с водою, горшков и кринок, заляпанных краской, корчаг, стоящих вдоль стен, в соборе было тесно и грязно. Пахло сырой известью, олифой, смолкой сосновых досок. На лесине, ограждавшей помост, сидел Феодосий. Сидел он небрежно и легко, как татарский баскак на коне, слегка покачивая ногой, обутой в сафьяновый сапог. Этот щегольской сапог, у которого нос — шило, а пята — востра, ввел во гнев Дионисия.

— Доська, — укоризненно бросил он сыну, — кая нужда тебе здесь выражаться. Ты хоть по забудням-то не красуйся, как девица.

— Пустое, отче, — усмехнувшись, ответил Феодосий. — Сам знаешь, своим рукодельем живем и питаемся.

Не сменив позы, Феодосий взял из обливной корчаги кисть и стал писать по свежему левкасу. Мазки его были

мелкие, иконописные, но ощущалась в каждом движении молодецкая удаль, твердая вера в себя. Тут уж медлить ему было некогда. Но и поспешать тоже нельзя: сырой левкас схватывал краски намертво. Переделать, исправить сделанное было уже невозможно. Высветлив лики, он двинул белилом по сильным местам, наметил скорбные подглазья, а уж потом принялся за ризы и царское убранство. Феодосий сошел на помост и истовостью, неприемной в нем прежде, начал выписывать брачный наряд жениха. Охра медвяная, жженая, киноварь, празелень, голубец — все краски были у него под рукою. И постепенно проступали на стене жемчуга и драгоценные бляшки на оплечьях жениха. Загорелся на богоматери вишневым цветком мафорий — наряд, подобный головному покрывалу. Плавными складками легли одежды угодников. В ликах, писанных Феодосием, было что-то заученное, единообразное, зато выше меры старался он, выписывая праздничный царский наряд.

Дионисий долго следил за искусством сына. Было и Феодосию дивно столь пристальное внимание отца. По напряженному загривку, по его плечам, обтянутым холщевым балахоном, по всему складному облику чувствовалось: вкладывал душу Феодосий в соборную роспись. Хотелось ему показать, что он сам по себе, а не как чадо премудрого Дионисия многого может достичь в благолепном письме. Кто иной, как не отец, изрядно известный повсюду, мог оценить эту строгую верность древнему византийскому уставу и его, Дионисия, навыку. Медлительные, казалось бы, непомерно вытянутые тела царей и святителей были полны тишины. Они вели сокровенные беседы с жестом предстояния, либо погружались в тихое раздумье.

Дионисий присел на холщевое сиденье и по-прежнему взыскательно оглядывал стенную роспись. Не только

теперь, но давно он примечал, что в парчевых одеяниях да корунах, унизанных жемчугами, теряется сын как живописец. Столь прельстительное для него убранство губит в нем силу взыскующую, духовную. Губит линию — емкую, сильную, единственно счастливую линию большого мастера.

Будь его, Дионисия, воля, в одной ли хрупкой изящности в медлительной важности беседующих, он стал бы искать себя? Под хитонами да парчевыми одеждами он вымыслил бы тела красивые, сильные, ловкие.

Но вспылчив норов у сына, и не терпит он ни в чем прекословья. Посему Дионисий сидел, облокотившись на колено, сидел неподвижно, даже безучастно и все-таки многое примечал из-под тяжелых приопущенных век.

Монахи, приставленные к артели, вносили и выносили воду в дубовых ушатах, растирали на плоских камнях комья охры, копанной тут же, на берегах Бородаевского озера. Они студили клей для лазори, мыли в корчагах щетинковые кисти. И по тому, как споро они двигались, как неслышно мелькали под опорами помостов, понимал Дионисий, что меньшей его сын стал для них главой дружины, что быть вскорости Феодосию жалованным иконописцем государя.

В толще северного окна писал серафимов Владимир. Поджав под себя калачом ноги, в серой, заляпанной известью однорядке, был Володюха подобен мучному кулю: тучный, словно бы заспанный, работал он с ленцой и явным небрежением. Томился Володюха в богоспасаемом углу второй год, втай поносил отца и меньшего брата за их сговорчивость да податливость на иосафовы увещеванья. А бранился Володюха лихо. Да и как было ему пe браниться: ведь ни денег, ни почестей не огребут они в ферапонтовой обители. «И какого беса, — прости мя грешного, — думал он, — было бросать княжеский двор, коль

скоро знатные муроли — фряжские каменностроительных дел мастера — строят в Москве церкви чудна вельми и светлостью, и звонностью, и высотой. А тут, в топах — болотинах, дикость одна да полное истощение плоти. У смердов не токмо меду хмельного али браги пенной, ломтя хлеба не сыщешь».

Не был Дионисий ни чернокнижником, ни ясновидцем, но умел читать он в сердцах сыновей своих, как в открытой книге. И потому что в володюхиных потайных укоризнах было немало верного, еще более ссутулился он на холщевом сиденье. Колоколом гудело сердце в груди. Свинцовой тягой наливались ноги. «Помрешь ты скоро, иконник, помрешь», — хрипел в памяти галактионов голос. И дабы стряхнуть с себя юродское навождение, развеять хоть малую толику тяжких печалей, медленно поднялся Дионисий и тихо вышел из храма.

Едва почитаемый мастер скрылся под сводами, как Феодосия поманил поварской служка. Тот нехотя оставил помост, спустился вниз по лестнице. Отведя иконника в темный угол собора, служка торопливым шепотом поведал ему, как изрыгал Галактион лютости зловредные, как поносил всячески артельную стенопись.

У Феодосия заиграли желваки под литыми плечами скул, по шее пошли красные пятна. Он рывком сорвал с себя балахон, опрометью бросился вон из собора.

Крупно шагая по двору, раздув гневливо ноздри, Феодосий без толку обежал монастырские постройки. Злоба и страх душили его. От невежества галактионова бысть в людях молва великая и смятенье, — та молва покатится, полетит подметными письмами ко двору князя Ивана Васильевича, к престолу святительскому. До Иосифа Волоцкого, несравненного учителя, многогорделивого друга —

дойдет та молва. В безумных дерзновениях да ересях обвинит Москва безвинных богомазов и не видать ему, Феодосию, ни почестей великокняжеских, ни благословения митрополитова. Нет обороны от лжи, нет запоров от навета: поди разберись, как писаны лики угодников в отдаленной обители.

Отец брани да тяжа, как яда смертного, обегает. Ему ли устоять против врагов своих? Ему ли развеять напраслину?

Феодосий вновь обошел постройки, пока, наконец, не догадался заглянуть в сушильню. Сильно рванув отводок, он ослеп от полумрака, царившего в сарае. Тяжелое дыхание его наполнило сушильню. У стены, завешанной сетями, на мерезках спал ничком Галактион.

Остроносый сапог с силой вонзился в ребра юродивого. Тот застонал от боли. Не давая Галактиону опомниться, Феодосий схватил его за грудки и поволок на волю.

— Ты... собачья кровь, — свистел он сквозь зубы. — Ты утром что плел? Скоморошьи пляски возле святого дела устраивал? Язык поганый распускал?..

Грязное галактионово рубище треснуло, поползло с плеч. Сверкнули бельма закатившихся глаз, искоробился заросшей дремучей волосней рот. Иконник еще раз встряхнул юродивого, потом брезгливо толкнул его, как рогожный куль, на землю. «Что взять со пса смердящего, — зло оборвал он себя. — Язык ему, рабу нечестивому, вырвать. В яме творильной утопить...».

Феодосий одернул тонкосуконный зипун, поправил кожаный пояс, крытый серебряными бляшками, и зашагал в келью Иосафа.

Когда Феодосий вошел к Иосафу, старец дрожащей рукою перелистывал чье-то житие. Иконник припал к руке старца, вкратце изложил заботу.

— Пойдем, сын мой, в храм, — смиренно ответил ему Иосаф. — Пусть не томит тебя дух гневливый: в умной молитве да сопребывании обрящем утешение.

Феодосий помог старцу накинуть на узкие плечи куколь — темную, грубой шерсти одежину. Подал посох и расторопно открыл перед ним дверь.

Шли они к собору медленно, беседу вели тихую, незаметную.

Иосаф часто останавливался, дабы передохнуть, а оставившись, несказанно сокрушался. Дескать, дрогнула вера на Руси и отступили многие от православья. Ереси плодятся повсюду, вольномыслие, как никогда, процветает. А все потому, что мужи духовные из печаловников земли русской превратились в государевых потаковников. Воли своей не имеют. Права позабыли. Сам первый Иосиф володкой отступил от небесного, а пришел к земному. Вместо дел монастырских за государево дело живот готов положить. Стяжательством обуян волоколамский игумен. Было бы жить чернецам по пустыням, да кормиться рукоделием своим — меньше было бы на Руси сомнений, меньше было бы кружащихся ради стяжанья. А то отписал ему прошлым летом Иосиф, мол, ныне и в домех, и на путех, и на торжищах иноки да мирские людишки — все сомневаются, все о вере пытаются. Поди слышал Феодосий-иконник, как говорят, распоясавшись: «Что то царствие небесное? Что то воскрешение мертвых? Ничего того нет. Умер кто, он тот умер».

Замкнулся от подобных речей ярый иосифлянин Феодосий, словно в рот воды набрал. Внимал речам старца невежливо, неохотно. Ведал иконник: отцу Дионисию пришлось бы по сердцу поучения затворника Иосафа. Ему, отцу Дионисию, от нестяжателей — честь да хвала. А Феодосию путь править с сильными, дело делать с разумными. И еретиков жечь да казнить надобно, коль скоро ере-

си веру колеблют. Задумали, вишь, иконам не молиться, в церкви не ходить. А Феодосию — по папертям побираться? С каликами перехожими в голос выть? Не бывать ересям на Руси! Зловерье новгородское железом каленым выжигать надобно, а не молитвами еретиков милостивить.

...Бледное солнце выглянуло из-за тучи. Задрожали на свету тополиные листья, зашептались травы, сильнее заверещали монастырские галки.

Иосаф, поддерживаемый под локоть иконником, вошел в собор, где в обеденный час было безлюдно.

От купола до самого полу покрывала собор золотистая и бирюзовая роспись. Помосты да лестницы затеняли многие письма. Краснели кирпичем непролепкашенные своды и подпружные арки. Но ясен был чудный замысел главы иконной артели. В четыре ряда шло письмо: по нижнему ряду платы с дивными медальонами. Затем изображения церковных соборов и лики святых. Выше — акафист во славу девы Марии, по сводам да по лютернам — евангельские главы.

— Лепота! — еле слышно выдохнул Иосаф. Феодосий, польщенный похвалой старца, стал разъяснять ему многомудрую хитрость стенового письма. Напирал иконник особо на «Вселенские соборы». Да и в акафисте девы Марии пояснил Феодосий мудрую богословскую сущность: через прославление богородицы славили писцы-иконники доброго пастыря Иисуса Христа. Поднаторелый в книжности Феодосий говорил живо, складно, велеречиво.

— Лепота! — только и вздохнул в ответ Иосаф, утопившийся от речей Феодосьевых.

...На совет к Иосафу пришли казначей, келарь, игумен монастырский. Приведен был и Галактион, сникший, припрятавший под космы огоньки рассомашьих глаз.

Совет вскоре порешил: дабы не отвращать прихожан от храма, собрать, какой есть народ, и явить народу новое чудо. Блаженный Галактион услышит голос небесный: «Поющий твое рождество хвалим те все, яко одушевленный храм». Слова из акафиста должны прозвучать внятно, а раденье блаженного успокоить умы прихожан. Да и на сердце впавшего в скорбь Дионисия сии слова, как разумели святые отцы, должны пролить свет благодатный. Ежели Галактион тому совету не внемлет, держать его в яме на железной цепи до скончания века.

По полудни, во втором часу, ударил колокол на звоннице. Густой медлительный гул поплыл над озерами, над лесами, над крышами крестьянских дворов, крытых лубьем и дранью. Возле паперти замелькали клобуки монахов, скуфейки послушников, войлочные мужицкие колпаки. На паперть, к главному входу, с которого мастеровые сняли леса, взшел преподобный Иосаф, келарь, игумен. Из храма показалось надменное лицо Феодосия. Был он одет в рабочий балахон. Волосы повязал ремешком. Иные пособники с любопытствующим Володюхой теснились за его крутыми плечами.

— Братие! — торжественно начал игумен. — Иконная дружина старца Дионисия, преизрядного мастера из стольного града Москвы, заканчивает роспись в богоспасаемом храме. Ведомо нам: иноку Галактиону явился седни чудесный образ, благословивший подвиг дружины. — Галактионе, — обратился он к монаху, вышедшему из толпы. — Поведай чадам о сем чудесном виденьи...

Галактион в разорванном, спущенном с плеч рубище стоял неподвижно.

Но вдруг он дико запрокинул назад голову, из-под спутанной бороды его заострился волосатый кадык. В горле что-то забулькало, заклокотало. Ноги стали дрожать мелкой дрожью, подгибаться: Галактион, не склоняя головы,

медленно подымая руки вверх, грохнулся на колени. В голос закричал какой-то чернец. Из ощеренного, с пенными краинами рта Галактиона рвалась хрипкая невнятица. Феодосий холодно посмотрел на блаженного, повернулся и спокойно ушел в собор.

Колеистый проселок, ведущий к Цыпиной горе, обветрился, зачерствел. Лишь в рытвинах омутами стояла вода. Дионисий ступал затравяневшей обочиной, иногда он переходил на проселок, где посуше. Мягкие татарские сапоги его были забрызганы грязью, промокли, но Дионисий упрямо постукивал батошкой в лад неторопкому шагу. Порывы ветра подхватывали его под зад, разведали полы ряски, морщили воду в колеях, пока, наконец, чистое небо не заблестело по всей дороге — и в глубоких колдобинах, и в малых лужицах, из которых воробью не напиться. Скрылась за спиной бревенчатая ограда Ферапонтова монастыря с надвратной, рубленной же из бревен церковью. Осталась за пригорком деревенька Лещево. Потемневшие от дождей избы сгрудились у проселка, как грибы опять. А дорога все круче и круче заворачивала к Цыпиной горе, к Ильинскому погосту, обтекала замшелые каменя, ныряла в низины и снова взбиралась на крутые пригорки.

Мнилось Дионисию: идет он не сим хоженным-перехоженным проселком, а неким путем к некой высокой-высокой горе. С той горы из-за вечных туманов и облачных хлябей будет видна ему матушка-Москва. Бирюзовые ленты рек опоясали грудь земную. Легли к изголовью студеные моря-океаны. Вечнозеленым платом дубрав и полей окутаны плечи. Глядит Московия синими очами озер, глядит, не мигая. Пытает у него, у Дионисия, свою бусу, свою судьбу. А что ответит Дионисий, что изречет он? Путь его жизненный краток, но им же он течет. И не

дым ли да пепел житея его? Не томим ли он страстями, в коих изнемогает разум его? Не искал ли он утешенья в прилежном письме? Не предавался ли философской премудрости, книжному чтению? Не открылась ли истина ему в Сорской пустыне: «Путь сей краток есть... Дым есть сие житие?»...

Тюкает батожок по утопанной тропке. Пришаркивая, идет Дионисий к Ильинскому погосту. Но как ни высоко, как ни жестоко встают в душе его волны унынья, стихает буря душевная и не может не видеть Дионисий благодати, разлитой окрест.

Березовые рожицы выбежали к проселку. Разостлались по взгоркам ромашковые травостои, с мокрыми, басо-бито гудящими шмелями. Зазвенели в небе жаворонки. Они падали и снова взмывали в поднебесную высь, словно кто-то поддегивал их паутинкой. Густой, сладостный дух шел от старых пепелищ, заросших тополями. Дионисий втягивал запах свежей смолки и примечал, будто опускает его телесная немощь, тверже тюкает батожок по земле. В такие тополя любил он забираться отроком, вырезать из веток свистульки. До сих пор обжигает губы горечь тополевой смолки. Бежит босоногий отрок за скомо-рохами, свистит, надув щеки, в свисток. То-то было радости. То-то было веселья. Тюкает батожок по земле, которую от монастыря к монастырю, от посада к посаду всю псходил Дионисий. На глаза ему попалась крупная, едва не с ладонь ромашка: малое солнышко, расцветшее у дорожного камня. Дивны дела твои, господи, дивны красоты твои, матушка-Русь! Погулял в молодости Дионисий по весеннему разнотравью у монастырских оград, у высоких крылечек. Порасписывал стены соборов охрой желтой, как сердцевина ромашки, белилом белым, как ее лепестки. Ныне осыпалась голова снежной замятью: не стряхнуть, не вычесать из поредевшей гривы. А тогда

сплетала ему Ориница венки из ромашек, целовала сладкой сладостью вишенной, надевала те венки на жесткие кудри.

Ах, дивны красоты твои, матушка-Русь!

Не счесть на равнинах твоих теремов боярских, башен оборонных, городов белокаменных. С красками да кистями, со всем набором иконописным исходил смолоду Дионисий твои дороги, ел твой хлеб, замешанный на корье сосновом, пил твоё парное молоко. Встречал людей многих — князей в златотканых одеждах и святителей в бархатных саккосах, посадских в кафтанах суконных и служилых в кольчугах железных. Но пуще всего встречал на Руси простых холопов в азиях да сермягах, женок их в холстинковых сарафанах.

Многолюдна ты, матушка-Русь!

Светла и просторна площадь перед Успенским собором в Кремле. Да и ту заливают море людское. Вспомнилось Дионисию, как святили сей благолепный собор. Глаз не хватит — лица человеческие, пытливые. Москва — народ ожидает выхода великого князя Ивана Васильевича. Гремит сбруя коней серебряными да золотыми цепями. Полоны тоже звенят от серебряных бубенчиков, подвешенных к ним. В красных полукафтанах, в шапках, осыпанных изумрудами, выезжает на площадь государева стража. Но горит, как жар, в светлом убранстве государь Иван Третий Васильевич. На государе — крест алмазный, перевязь золотая, платно царское — атлас по серебряной земле, травы золотые, запястья жемчугами унизаны. Смуглолиц, темноволос князь и высок ростом. Посему горбится он в платне царском. Блистает гордым взором, глядит куда-то поверх толпы, поверх замоскворецких теремов. Но и с тех дерзких кремлевских высот не окинуть ему взором новые страны московские: рязанские, ярославские, двинские, заволоцкие, вятские, пермские...

И все ныне единая Русь! И вся ныне под его, князя, державою!

Ликованье в народе поднялось: не московский удельный князь, а государь над всеми государями земли русской Москве — народу явился. Ей же, Руси, расти, молодеть и расширяться до скончания века.

Помнится, подступил к горлу комок у Дионисия, заблестели на глазах благодарные слезы. Воскрылила его сила народная и кричал он вместе с толпами: «Слава пресвятой богородице — заступнице русской! Слава государю нашему!»

...Притомился Дионисий от неотступных видений, от неближней дороги. Спустился в овраг, поросший черемухой, испил ключевой водицы, осыпанной черемуховым снежком. Потом утерся полой ряски, присел тут же у ручья на камень-плакун, сложил крестом ладони на бабочке, обоперся подбородком, задумался.

Сколько он ни помнил себя, — с великим жаром душевным писал богородицу. Едва, бывало, слышит величавый глас: «Радуйся чудо чудес Одигитрие-владычице», как громом прокатится в душе похвальная песня — акафист в честь богоматери девы Марии.

На Руси со времен Калиты Одигитрия почиталась по многим церквям и посадам. Молились ей, слышав гром копыт татарской конницы, увидев дымы, палимые по окоему. Выходили с иконой навстречу татарве, да ливонцу, да немцу, да ляху, да иным агарянам, супротивникам русских людей. Бились насмерть: один бился с тыщею, два — с тьмою. И светозарной зарей сияла над воями Одигитрия, заступница за православных. Потому-то сладкие песнопения в честь богородицы неумолчно звучали в душе живописца. Мыслил Дионисий те песнопенья высказать по-своему, иконным письмом, незамутненными чистыми

красками. Лазорь да голубень брал от неба, киноварь — от утренней зари, а охру — от яркого солнышка. И немало он изощрился в своем ремесле.

В Боровском монастыре со старцем Митрофаном, у которого был Дионисий в пособниках, расписали они храм рождества богородицы чудно вельми. Дивился на роспись великий князь Иван Васильевич. Запомнил государь молодого иконника, полюбил его за письмо, вещавшее о победоносной силе, о торжестве воинства христианского, а стало быть и его, князя, могуществе.

И надо же было случиться такому диву. В лето 1482-е сгорела на Москве церковь каменная святого Вознесения, Пожар вспыхнул ночью, внезапно. Прибежавший церковный сторож кинулся в храм, охваченный полымем, дабы спасти Одигитрию, чудную икону греческого письма. Вынес сторож из церкви одну обгорелую доску. Жаром спалило лик богородицы, повредило кузень — дорогой серебряный оклад. Ропот пошел по московским дворам и подворьям, по торговым рядам и причалам. Пребывали в страхе многие люди: беспокойно жилось им в русской земле. Тем же летом крымский хан Менгли-гирей с силою своею взял Киев, много там пакости учинил, многих в полон увел и с женами их и с детьми. Невозможно было Москве — народу жить без вознесенской святыни. Тогда стали искать наилучшего иконника, который смог бы на той же доске в том же образе написать Одигитрию. И не было изящнее и хитрее в русской земле живописца, чем Дионисий. В долгих трудах пребывал молодой иконник, а когда налил на ладонь олифы да протер той теплой олифой письмо, — ахнули миряне и иноки: Одигитрия была краше прежней, но и ничуть не отличима от греческой прориси.

С той обгоревшей и заново писанной иконы окружили Дионисия еще большим почетом при княжеском дворе,

при московском митрополичьем престоле. Летописец, пересказавший случай с пожаром, с похвалой помянул Дионисия, дабы пребывал он незабвенно «в последних родах». Иосиф Волоцкой, князь церкви, заказал и щедро оплатил иконнику роспись Волоколамского монастыря. Люди знатные, наипервейшие на Москве богатеи, шли к нему толпами: льстились сделать вклад в монастыри светлыми образами письма Дионисия. Но всех боле ласкал живописца сам государь Иван Васильевич. Стал Дионисий жалованным иконником, государевым любимцем.

Но лучше бы пропадать Дионисию в неизвестности, жить в скудости, в небрежении. Лучше бы ему быть скромным мирским писцом, ходить по Руси с вольной артелью, писать церкви по собственному разуменью. Добро плавал Дионисий по морю житейскому, ясными и тихими ветрами несло его ладью к берегу изобильному. Однако грянула буря вражья, и сотрясло ладью, как осиновый лист. Ё одночасье потерял он Ориницу, верную подругу в трудах и скитаньях своих, занемог неутолимой скорбью. Невесел стал Дионисий, необщителен. Примечал он на княжеском дворе прежде непримеченное: княжеские дворцы предавались корысти да сладострастию. Сам князь был мстителен и лукав. Видно, с умыслом прозвал его Горбуном родной отец, великий князь Василий Васильевич — убог был духом, мучим надменной гордыней сын Иван.

Уставать стал Дионисий от великокняжеских ласк, от непомерных ивановых притязаний. Холодно стало его письмо, зело мудрственно. Отблесками славы, а не самой светозарною славой дышали росписи и богомазные лики. Где должно было Дионисию с разумом пользоваться художеством, дабы продлить государю милости промысла, — он же толпы мирские упоенно писал. Великий князь встревожился. «Да стоит ли писать живых и мертвых на святых иконах молящих, — пытал он у духовника Вас-

сияна. — Пишут же теперь и цари, и князья, и святители, а доперезь всего пишут народы, которые живы суть». Худ стал Дионисий для великого князя. А то лучше были иконники — холоуяне, коих немало привезла с собой грекня Софья Фомипишна, вторая жена московского князя?

Тут-то и случилось быть письмам старца Иосафа. Сулил Иосаф забвение всех скорбей в лесах ферапонтовых. Хвалили непомерно новый храм. Прельщал немалыми выгодами.

Так-таки тяжело было пускаться Дионисию в неведомый предел и долго бы он еще раздумывал, если бы не настоял сын Феодосий.

«Истинное иосифлянское благочестие должны мы нести, как крест подвижники, — убеждал он отца. — Та земля Заволоцкая была пятиной великого Новгорода, зараженного ныне зловерьем. Самый край государства московского теперь Заволочье. Быть там праведникам московским и московским святителям. Быть там власти князя московского во веки веков».

Только не сына послушался Дионисий, а послушался он своей тайной задумки. В Заволоцкой земле, вблизи от Кириллова монастыря, находилась некая заветная пустынь.

Возмечтал Дионисий у великого старца той пустыни Нила смягчить сердце покаянием, вылечить душу безмолвием. Возмечтал он победовать старцу на жестокосердие московских властителей. Выскивают те властители крамолу да смуту, как волки степные, по торговым рядам, по монашеским кельям, по народным гульбищам. Людям, на язык вольным, умом смущенным, в Новеграде колпаки берестяные на головы надели и те колпаки на головах сожгли, а других в темницы бросили, а другим навечно кляпами рты забили,

Был Дионисий от роду незлобив, мягкосерден. Всю жизнь он бежал насилья над ближними, страшился крови, пролитой единоверцами. Ни поносить, ни укорять не хотел почтенный иконник, а только искал справедливости и благолепия в мире.

И хотя скиты среди непроходимых топей и малых берез на берегах речки Сорки были для мирских людей маловходны, одолеваемый горестными печальми Дионисий тронулся в пустынь в сопровождении левкащика Еремея.

Снег в ту весну долго не таял. Лежал он осевший, похожий на серый, худо простиранный саван. Земля сквозь лунки, желтевшие летошною травой, дышала трудно. При редких порывах ветра еловые лапы скреблись по насту, роняли на снег древесную прель и труху. На вывороченных буреломом корягах мерно покачивались сухие комья земли. Коряги зывали жутко и страшно к безликому небу.

Монастырские дроги, на которых бочком сидел Дионисий, сильно стукались о коренья, иное летели книзу, иное по ступицы завязали в болотной жиже. Еремей, почмокивая на лошадь, дремотно валился на плечо живописца, вздрагивал, озирался и снова раскачивался в неодолимой дреме. С тоской и болью глядел Дионисий на разметанный ветром, неприбранный, гибельный лес. Думал он, что скажет отшельнику Нилу, найдет ли в его речах утешенье, уверует ли в исцеленье мирских печалей, измаявших сердце.

Еремей меж тем очнулся от дремы, подобрал вожжи, прикрикнул на лошадь, — дроги резче, злее стали встряхивать седоков. Заструился мелкий березник, потом ельник — реже, реже — дроги выскочили на сырую болотистую луговину. Скиты пустыни были редко раскиданы

по топкому берегу Сорки. Лед на реке вздулся, посинел, пошел глинистыми потеками и черными полыньями. Только ветхая часовенка приметно белела среди скитов. На слабом солдцегреве возле часовни виднелся еловый настил. Дионисий с левкащиком, не видя окрест ни единой души, подошли к настилу, застыли в молчаньи. В груди грязного, дурно пахнущего тряпья лежал умирающий инок. Борода его свалялась в ржавые клочья, смертные блики легли на щеки. Дышал он хрипло, тягуче. Иссинябледные губы прилепились к белым крепким зубам.

Сердобольный левкащик торопко сбегал к подводе, достал оловянный ковшик, зачерпнул талой воды из канавы и дал напиток монаху. Тот припал к ковшу: прозрачные капли скользнули по бороде, глотки были судорожны и часты.

— Ай, не дело затеяли, миряне, не дело.

Дионисий с левкащиком враз оглянулись. Перед ними темней насупленной тучи высился старец. Был он осанист и худ. Седая с прозеленью борода свилась косицами, стекла к лыковой опояске. Рука властно опиралась на тяжелый дубовый батог.

— Блажен, кто возненавидел сей мир и славу его. А вы восхотели земную юдоль инока Поликарпа продолжить. Вот я вам и вещаю: бесполезное дело затеяли вы, миряне, в пустыне Сорской.

Старец говорил глухо и строго. Он возвышался над мастеровыми, как сухая тростина над зеленой осокой. И коль скоро Дионисий ехал сюда, погруженный в смирение, в ожидание целительных откровений, он не сразу дал власть обиде и гневу.

— Не дело другое: как псу, валяться монаху в смрадном тряпье. Он же еще человек, — голос Дионисия был смиренен, но тверд. Тайная горечь метнулась из глаз, притененных тяжелыми веками.

— Что сие человек? — откликнулся резко отшельник. — Вместилище немощей плотских? Мразь земная? Червь, копошащийся у подножья горы? Все едино: он тленен. Ну и пусть под неслыханной мукой, под гнетом, под страхом смиряет телесную плоть.

— Человек — вместилище светлых надежд, — столь же резко ответил ему Дионисий. — Даже в этом зловонном тряпье он ищет надежду на спасенье души, коль не плоти.

Качнулся в суровом молчаньи отшельник, повернулся узкой спиной к скорбному ложу и пошел от пришельцев к часовне.

Так-то с отшельником Сорским повстречался отец Дионисий, так-то вступил он в беседу со старцем, у которого возмечтал найти утешенье. Поил его Нил смертной отравой, пахнувшей тленом. Поносил на смятенность ума, за земную сердечную боль. «Мудрствуешь о высоком, — наставлял он сурово, — а блаженство отверг, предавшись мирским ремеслам. Жалеешь убогих и сирых, оскорблений не терпишь, поносишь духовную власть придерживающих, не чтишь пастырей, коим открылось всеобщее предначертанье, — много мнишь о себе, славы ищешь земной, а не вечной!»

Что еще говорил ему Нил, — Дионисий всего не помнил. Только, может, острее, чем прежде, он понял одно: вознесенный в гордыне Сорский затворник мнил, что ключи от напастей, от бед человечества у него, у целителя, в левой ладони, а правая сжата в кулак — и перст указующий тычет в него, в живописца, как в несмышленища, как в греховное, неспособное к разуменью дитя.

Ах, как тягостно, как невозможно мучительно было тогда живописцу! Сердце сжалось, дыханье стеснилось в груди. Круги багряные вспыхнули перед глазами, забес-

новались черные мухи. Упованье его рушилось, словно занос над обрывом, увлекая в паденья его, Дионисия, разум и волю. В глаза, в самый зрачок был воткнут старческий перст. Желтый тот перст заострялся, тончал, как коготь хищной птицы, и казалось, вот-вот вырвет очи, зальет лицо сукровицей и слезами, погрузит в крошечную, вечную тьму. И здесь, под безликим и плоским небом, под смрадною мешковиной, будет лежать не безвестный монах, а сам Дионисий, лежать, погруженный в тупое молчанье, в безысходную боль.

На обратной дороге из пустыни Сорской заметил Дионисий лесную поляну. Там вековую сосну повалило метелью: как видно, лесной понизовый пожар иссушил корни, выжег пламенем сердцевину. И хотя еще зеленела верхушка, был черен и пуст, словно короб, могучий, в темных подпалинах ствол.

Вот таким опаленным, выжженным, опустошенным ощущал себя Дионисий после встречи со старцем великим. Гулко было внутри и пусто, как в подземелье. Отвращенье терзало, когда он брался за кисти, разводил олифу и краски. Бежал Дионисий людей, бежал живописной работы, но повсюду он нес пустоту, всюду зрил перед взором надменный указующий перст.

...Очнулся Дионисий от дальнего колокольного звона. Прислушался: звонили в монастыре. Подивился он тому внезапному звону да и забыл вскоре. Встал иконник с замшелого камня, размял занемевшие ноги, вышел на проселок, затюкал своим батожком. Теперь уж недалече до Ильинского погоста.

Дорога вбежала на ладное возвышеньице и тут-то, от двора попа Филарета, открылось лесное озеро, прозванное, как и гора, Цыпиным. Много повидал Дионисий чудных чудес на земле, но краше этого озерка вроде бы и не

видывал. Было оно укромным, но светлым, как светлое небесное око. Низкие берега его покрыла черемуха, а на взгорках росли березы, да темные ели, да высокие сосны. У самой воды приютился храм Ильи Пророка. Храм — деревянный, одношатровый, старинной плотницкой работы. Его чешуйчатая, крытая лемехом глава отражалась в неподвижной воде, и чудилось Дионисию, что из глуби вод вздымается еще одно дивное строение, которое колеблется на воде легким платом, течет к другому берегу, рвется отраженными главами.

Дионисий обогнул церковку, заглянул в сторожку Олехи-послушника. Там было пусто. Тогда он сел в тени старых берез, снял камиллавку, вытер вспотевший, с большими пролысинами лоб. В кустах редко попискивала синичка. Было так тихо, что доносился всплеск рыбы из прибрежной осоки. Гудели пчелы, облетая душистые соцветья. И эта тишина, прогретая солнцем, пропахшая черемуховым цветом, освеженная озерной водой, захлестывала человека, убаюкивала его, заставляла в полудреме закрывать глаза.

Дионисий бездумно щурился на ослепительно сияющую гладь озера, наслаждаясь давно ожидаемой радостью тишины и покоя.

Из-за высокой осоки вынырнула лодка-долбенка. В лодке сидел послушник, орудовавший кормилом. Он обрадованно помахал рукой отцу Дионисию, который только молчаливо улыбнулся в ответ. Любил живописец послушника за открытый, веселый нрав, за ясный ум и понятливость. Олеха в Дионисии души не чаял. Сдружились они зимними вечерами, когда гостевал живописец у попа Филарета. Зимой иконники безвыходно сидят по избам поселян, по монашеским кельям, пишут иконостасы для соборов, ждут красного лета, чтобы вновь приступить к стеной росписи. Так и Дионисий жил затворником на

Ильинском погосте, изредка писал иконы для вологодских, двинских, белозерских монастырей. Но и в летнюю пору искал он на Цыпином озере душевной отрады. Олега-послушник привык к неторопливому старцу, помогал ему растирать краски, левкасить липовые доски, следил, чтобы не прохудилась у иконника обувь и одежда.

Челн ткнулся в илистый берег. Послушник встал, подоткнув ряску, выбросил из челна верши, выкинул прямо в траву окуней и плотвичек. Подошел к сидящему живописцу.

— А что, отец Дионисий, не заварить ли нам ушицу? Вкусна ушица из сладкого окунья...

Дионисий, будто не слыша, по-прежнему щурился на солнце, перевалившее за полдень, идущее к заходу. От солнечного тепла морщины на лбу его разгладились. Лицо обмякло, подобрело. С полузакрытыми глазами был Дионисий благостен, как библейский старец, но стоило ему вскинуть веки, как в глубоко запавших глазницах начинали поблескивать карие молнии. Они озаряли лицо тревожным светом, искушающей, пытливой мыслью. Прежде чем ответить, Дионисий долго смотрел на вопрошавшего, словно пытал его тайной, пронзительной до дрожи, ведомой одному живописцу, и, только встретив взгляд, отвечал.

— Добро, мой сын, добро, — будто очнувшись, промолвил Дионисий. — Только скажи: нет ли в сторожке цки липовой, хорошо пролевкашенной, да яиц, да кистей.

— Как, отец Дионисий, не быть... Я единым дыхом...

Живописец благодарно взглянул на послушника и снова погрузился в глубокую думу.

С самой ранней весны, с той памятной встречи с отшельником Сорским, не знал Дионисий такого молодого, до суши в горле порыва, такой яркой потребности писать. Хотелось ему немедленно взять в руку тоненькую, как стебе-

линку, кисть и замереть, затаиться перед первым мазком. Запыхавшийся Олеха расстелил холстинку, развел в скорлупках нежный яичный желток, добавил соли, растворил краски. На липовую доску головенкой — березовым угольком — Дионисий нанес знаменье — первую прорись: лик под мафорием, тонкую шею, кисти рук. Послушник, видя, что Дионисий при деле, ушел разводить костерок, скребком чистить плотвичек.

Доска была махонькой, всего в две ладони, но Дионисий писал деву Марию с тщанием и любовью, нет, с душевным трепетом, словно то был средник великого деисусного чина. Он положил на левкас бледно-серебряный тон, потом высветлил лик, потом положил пробелы.

Закатное солнце клонилось к Цыпиной горе. Оно пошло округу золотиносной пылью, крыло сосны красной медью, а молодые березки — нежною желтизной. Небо над живописцем было светлой — до головокруженья — лазури, но Дионисий впился взглядом в доску. Он отрывался только затем, чтобы осторожно макнуть кисть в скорлупу и снова сделать легкий движок.

Тонко-тонко запел первый комарик. В кустах, у самой воды, выщекотал соловей. Из глубины заозерного бора, сквозь скользящие волны желтого света, летело гулкое кукованье. И тогда, казалось, стихало треньканье, звеньканье, посвистывание, перепархивание в прибрежных кустах, чтобы, едва смолкнет голос кукушки, снова слиться в согласный победительный хор. Озерцо, блестящее слюдой, было окольцовано тем разноголосым гомоном птах: перед заходом всякая тварь славилась день, проведенный в трудах и заботах.

...Дионисий со вздохом облегчения отпрянул от поставца. Подошел Олеха-послушник, заглянул через плечо и не мог оторвать взора от дивного образа.

Нежен и сладостен был лик девы Марии. Сросшиеся на переносице брови гнулись крутыми дугами: угадывалась в разлете бровей сила. Уголки рта, писанного черненью, теплили душевную доброту и сердечность. Но чудны вельми были очи Марии: вся радость и печаль мира была в зеленовато-голубых очах. Очи жили, — в глубине их светились два крохотных животворящих пламени.

— Отец Дионисий, то есть Одигитрия? — простодушно спросил послушник, когда насладился невиданным зрелищем.

Прищурился мастер, разглядывая творенье сердца и великого живописного дара, словно откуда-то из дальней дали.

— Нет, Ориница, — коротко молвил в ответ.

И вздохнул. И подумал: как и младшего сына, однако, совсем по-иному, одолело его мирское письмо. Мало божественного в новом лице, а посему никто, кроме Олехп-послушника, не будет видеть писанный в жару и душевном ознобе образ Ориницы.

Не знал того послушник: в неведеньи возмечтал он, как затеплится свеча перед иконой, как в жаркой молитве он забудет треволнения прелестного и мимотекущего света сего. Ах, Олексей, Олексей, не мечтай, взгляни еще раз, запечатлей в сердце своем Ориницу и утешься.

Долго не мог охолонуть Дионисий от сладостных, пережитых им за писаньем волнений. Они же радовали его целительной силой, просветленьем ума, изнемогшего в ожидании тьмы кромешной. И теперь на закате, у светлой озерной воды, закончив невиданный образ, Дионисий дивился мудрости слов, изреченных содругом его Митрофаном. Голосом тихим, как шелест вечерней листвы, вещал Митрофан: «От трудов своих мученических будешь иметь ты печали многие, но в тех же трудах найдешь великое утешенье».

В багряном огне заката, под сенью дуплистых берез, хлебал Дионисий с послушником Олехой окуневую уху. Навариста и воистину сладка была ущица. Обжигала рот, веселила тело. Добрая истома разливалась от нее по рукам и ногам, и трудно было встать с приозерного луга, пойти в сторожку, которая до притолки была забита душистым сенцом.

На том молодом, духовитом сенце крепко, как в дни первой молодости, спал Дионисий. Снилось ему Ориница в ромашковом полево венке. Смеялась зазывно, лукаво. Манила к себе. Звала.

Когда проснулся иконник, в морщинах щек не высохли слезы. Звала его, мать Ориница, звала в горний край, в неблизнюю дорогу. Иконник лежал в сторожке, не открывая глаз, боясь вспугнуть отсветы сновидений. Потом встал, одел ряску, обул татарские сапоги, просушенные Олехой-послушником, и задолго до первого луча пустился в обратный путь, в Ферапонтову обитель.

На севере июньские ночи светлее зимнего дня: малиновая заря сливается с нежно-розовым восходом, и свет вечерней звезды во всем подобен свету звезды утренней. В этом розовом озарении густые травы сникают под тяжестью скатных жемчугов: роса серебрится на травах тускло, дымчато. Пичуга выпорхнет на проселок, попрыгает, попьет, сладко прижмурив глазок, из чаши придорожной мати-мачехи и вспорхнет с тонким писком.

Так было и в ту светлую ночь.

Высоко и прохладно встало над Дионисием небо. Шел он споро, но неторопливо, как странник, привыкший к долгой дороге. Вскоре показалась деревенька Лещово. За Лещовым, в низке, где вода подступила к самой обочине, от берега отошла рыбачья лодка. На невозмутимой глади она оставляла долгие мерные круги. Гребец, налегавший

на весла, сказал вполголоса напарнику: «Спел бы ты, Федюха, отвальную...» Тот, сидя спиной к Дионисию, что-то ответил. Гребец рассмеялся и снова налег на весла. Лодка терялась, таяла на глазах, как вдруг над неподвижной водой, отражающей звезды и дальний синеющий бор, полилось, заплескалось:

Ах, плавала лебедушка по морюшку,

Плавала белая по синему.

Ах, да, плававши, она, лебедушка, воскликнула
Песню лебединую последнюю...

Защемило сердце у Дионисия от молодого чистого голоса холопа, от его протяжного зова, всколыхнувшего дрему рассвета. Вот и лодка скрылась в озерной дали, а голос певца все еще растекался над водною ширью. Дионисий постоял, долгим взором, будто прощаясь, оглядел земные просторы и стал подыматься в гору к монастырю.

Когда он вошел в обитель, прямо перед ним воссиял благолепный собор. Белокаменные стены чуть розовели от рассветных лучей. Глава парила в утренней голубизне. Дионисий медленно приблизился к лестнице, и тут-то он увидел то, что трепетно ожидал, к чему стремился с такой нетерпеливостью, на что надеялся, о чем думал в тоске и неотступной кручине, но что, однако же, поразило его тем сильнее и глубже, чем горше были его сомненья и ночные страхи.

В прозрачном воздухе во всей первозданной чистоте красок предстала перед ним роспись главного входа. Высоко к деревянному скату вознесся «Деисус». Перед престолом сына богоматерь смиренно молилась за род людской, за всех страждующих и скорбящих. Ниже по правую и левую руку, в росписях были представлены «Рождество богородицы» и «Ласканье младенца». Еще ниже — два ангела. Левый ангел на дорогом пергаментном свитке

писал имена вступающих в храм. А по самому низу развивались два белых платя с крупными медальонами по середине.

Какой радостью, миролюбием и кротким согласьем веяло от «Рождества богородицы» и «Ласканья младенца!» Роженица, праведная Анна, полулежала на широком ложе. Голубое одеяло прикрывало ее. Служанка в зеленом хитоне подавала Анне питье в золотой чаше. Чуть поодаль стояли две соседки: одна с высокой прической в розовой накидке говорила что-то другой, а та держала в руках сосуд и внимала ей вдумчиво и спокойно. Внизу, у купели, девушка пробовала воду, тепла ли вода. Ее подружка держала на коленях младенца.

А за сей дружелюбной, погруженной в светлое умиротворенье семьей, за палатным письмом с портиками, колонками, дымчатой занавеской голубело такое высокое и чистое небо, что отблески его, казалось бы, падали на кирпичи галерей.

Понимал Дионисий: дерзкий вызов бросал он времени, веку. Он бросал свой вызов братоубийственный войнам князей, нечестивым властителям, всем, кто сеет раздоры и муки.

Вопрошал Дионисий: — Так ли жить надо, люди? — Отвечал он: — Вот так надо жить вам: постигайте счастье привета и ласки, доброты и семейной отрады. Встречайте рожденье младенца с любовью, любите друг друга, как Анну любил Иаким, как любит вас всех дева Мария.

Восходил Дионисий, озаренный лучами, на широкую паперть. Он хотел увидеть, нет, он услышать хотел, как звучит его стенопись в рождество-богородицком храме. Вошел старый иконник под гулкие своды. Вошел и закрыл на мгновенье глаза. Послышался слитный гул молящихся. Дыханье людских множеств витало в соборе. Шелест парчовых риз, звон браслетов, бряцанье мечей

окружили иконника. Но заглушая порохи, вздохи, звоны, молитвы, грянул акафист: «Радуйся чудо чудес, Одигитрия владычице».

Дионисий открыл глаза. Вроде бы все так и было: текли людские толпы, парили праведники в небесной лазури, сидели, едва прикасаясь к седалищам, мудрые старцы. Однако акафист звучал приглушенно. Тонкие пальцы девы Марии согнуло болью. Лик богоматери, повторенный множество раз, был непроницаем. Не ласканье, не умиление являл он — одну величавую отчужденность. Но толпы людские текли и текли. В дорогих одеяньях, в рубищах, в легких хитонах, в воинском позлащенном убранстве. Взывались на крутые горки кони волхвов. Прорастали болотные травы. Рыкали диковинные звери. Журчали хрустальные родники. И снова роспись сплеталась в янтарно-лазоревою многовещанную вязь, в которой все время тревожно, настойчиво звучал вишневый мафорий девы Марии.

Близко к полудню Дионисий спустился со стремянки, на которой стоял он с утра, расписывая «Николу» в дьяконнике.

— Феодосий, — позвал сына. — Как кончим роспись собора — на софите северной двери крупным уставом напишешь: когда подписан сей храм... — подумал, потом пояснил: — И кем...

Феодосий не скрыл удивленья:

— Для чего, отец, сие дело?

— Дабы потомки не променяли наших простых речей на краснейшие, — ответил ему Дионисий, — дабы не были их сужденья вне истины. — И снова пошел к стремянке заканчивать поясного «Николу».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Память сердца

Земля Заволоцкая	7
Купола и ласточки	10
Память сердца	12
Чудесный город	16
Барашки	21
Ланчик	25
Сей добро	28
Полет в грозу	32
Страна Прометеев	35
Берег Олешки	37
Соколёна	41
Телеграмма	46
Мальчик	50

Мастера

Счастье художника	57
Кизи	61
«Старичок»	66
Для людей	72
За монастырской стеной	85
Утешение Дионисия	103

Валерий Васильевич Дементьев
«СЕВЕРНЫЕ ФРЕСКИ»

Редактор *В. К. Лиханова*

ГЕ00292. Подписано к печати 6. 6. 1967 г. Бумага 70 × 108¹/₃₂
Бум. л. 2. Печ. л. 5,48. Уч.-изд. л. 5,62.
Тираж 30 000. Цена 30 коп. Заказ 2055.

Областная типография, г. Вологда, ул. Калининна, 3.

30 коп.

